

# Памяти Каталонии

Джордж Оруэлл

1938

# Оглавление

1	4
2	12
3	17
4	26
5	31
6	47
7	56
8	65
9	69
10	76
11	92
12	111
13	120
14	131

Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему.  
Но отвечай глупому по глупости его, чтоб он не стал мудрецом в глазах своих.

Притчи 26, 5-6

# 1

За день до того, как я записался в ополчение, я встретил в Ленинских казармах Барселоны одного итальянца, бойца ополчения.

Перед штабным столом стоял кряжистый рыжеватый парень лет 25-26; его кожаная пилотка была лихо заломлена набекрень. Парень стоял в профиль ко мне, уткнувшись подбородком в грудь, и с недоумением разглядывал карту, разложенную на столе офицером. Что-то в его лице глубоко тронуло меня. Это было лицо человека, которому ничего не стоило совершить убийство, или не задумываясь, отдать жизнь за друга. Именно такими рисуются нам анархисты, хотя он был, вероятнее всего, коммунистом. Его лицо выражало прямоту и свирепость; кроме того, на нем было то уважение, которое испытывает малограмотный человек к людям, его в чем-то, якобы, превосходящим. Было ясно, что не умея читать карту, он видел в этом дело, требующее колоссального ума. Не знаю почему, но мне, пожалуй, никогда еще не приходилось встречать человека — я имею в виду мужчину, — который мне так понравился бы, с первого взгляда. Из замечания, брошенного кем-то из людей, сидевших за столом, выяснилось, что я иностранец. Итальянец поднял голову и быстро спросил:

— *Italiano?*<sup>1</sup>

— *No, Inglés. Y tú?*<sup>2</sup> — ответил я на своем ломаном испанском.

— *Italiano.*

Когда мы направились к выходу, он сделал шаг в мою сторону и крепко пожал мне руку. Странное дело! Вдруг испытываешь сильнейшую симпатию к незнакомому человеку, у меня было чувство, будто наши души, преодолев разделявшую нас пропасть языка и традиций, слились в одно целое. Мне хотелось верить, что и я понравился ему. Но я знал, что для того, чтобы сохранить мое первое впечатление от встречи с итальянцем, я не должен был с ним видеться. Разумеется, мы больше не встречались; встречи подобного рода были в Испании делом обычным.

Я рассказал об итальянце потому, что он живо сохранился в моей памяти. Этот парень в потрепанной форме, с трогательным и в то же время суровым лицом стал для меня выразителем духа того времени. С ним прочно связаны мои воспоминания об этом периоде войны — красные флаги над Барселоной, длинные поезда, везущие на фронт оборванных солдат, серые прифронтовые города, познавшие горечь войны, холодные грязные окопы в горах.

Было это в конце декабря 1936 года, то есть менее семи месяцев назад, но время это кажется ушедшим в далекое, далекое прошлое. Позднейшие события вытравили его из памяти более основательно, чем 1935 или даже 1905 год. Я приехал в Испанию

---

<sup>1</sup> Итальянец? (прим. пер.)

<sup>2</sup> Нет, англичанин. А ты? (прим. пер.)

с неопределенными планами писать газетные корреспонденции, но почти сразу же записался в ополчение, ибо в атмосфере того времени такой шаг казался единственно правильным.

Фактическая власть в Каталонии по-прежнему принадлежала анархистам, революция все еще была на подъеме. Тому, кто находился здесь с самого начала, могло показаться, что в декабре или январе революционный период уже близился к концу. Но для человека, явившегося сюда прямо из Англии, Барселона представлялась городом необычным и захватывающим. Я впервые находился в городе, власть в котором перешла в руки рабочих. Почти все крупные здания были реквизированы рабочими и украшены красными знаменами либо красно-черными флагами анархистов, на всех стенах были намалеваны серп и молот и названия революционных партий; все церкви были разорены, а изображения святых брошены в огонь. То и дело встречались рабочие бригады, занимавшиеся систематическим сносом церквей. На всех магазинах и кафе были вывешены надписи, извещавшие, что предприятие обобществлено, даже чистильщики сапог, покрасившие свои ящики в красно-черный цвет, стали общественной собственностью. Официанты и продавцы глядели клиентам прямо в лицо и обращались с ними как с равными, подобострастные и даже почтительные формы обращения временно исчезли из обихода. Никто не говорил больше «сеньор» или «дон», не говорили даже «вы», — все обращались друг к другу «товарищ» либо «ты» и вместо «*Buenos dias*» говорили «*Salud!*»<sup>3</sup>

Чаевые были запрещены законом. Сразу же по приезде я получил первый урок — заведующий гостиницей отчитал меня за попытку дать на чай лифтеру. Реквизированы были и частные автомобили, а трамваи, такси и большая часть других видов транспорта были покрашены в красно-черный цвет. Повсюду бросались в глаза революционные плакаты, пылавшие на стенах яркими красками — красной и синей, немногие сохранившиеся рекламные объявления казались рядом с плакатами всего лишь грязными пятнами. Толпы народа, текшие во всех направлениях, заполняли центральную улицу города — Рамблас, из громкоговорителей до поздней ночи гремели революционные песни. Но удивительнее всего был облик самой толпы. Глядя на одежду, можно было подумать, что в городе не осталось состоятельных людей. К «прилично» одетым можно было причислить лишь немногих женщин и иностранцев, — почти все без исключения ходили в рабочем платье, в синих комбинезонах или в одном из вариантов формы народного ополчения. Это было непривычно и волновало. Многое из того, что я видел, было мне непонятно и кое в чем даже не нравилось, но я сразу же понял, что за это стоит бороться. Я верил также в соответствие между внешним видом и внутренней сутью вещей, верил, что нахожусь в рабочем государстве, из которого бежали все буржуа, а оставшиеся были уничтожены или перешли на сторону рабочих. Я не подозревал тогда, что многие буржуа просто притаились и до поры до времени прикидывались пролетариями.

К ощущению новизны примешивался зловещий привкус войны. Город имел вид мрачный и неряшливый, дороги и дома нуждались в ремонте, по ночам улицы едва освещались — предосторожность на случай воздушного налета, — полки запущенных магазинов стояли полупустыми. Мясо появлялось очень редко, почти совсем

---

<sup>3</sup> Добрый день. Салют, привет. (прим. пер.)

исчезло молоко, не хватало угля, сахара, бензина; кроме того, давала себя знать нехватка хлеба. Уже в этот период за ним выстраивались стометровые очереди. И все же, насколько я мог судить, народ был доволен и полон надежд. Исчезла безработица и жизнь подешевела; на улице редко попадались люди, бедность которых бросалась в глаза. Не видно было нищих, если не считать цыган. Главное же — была вера в революцию и будущее, чувство внезапного прыжка в эру равенства и свободы. Человек старался вести себя как человек, а не как винтик в капиталистической машине. В парикмахерских висели анархистские плакаты (парикмахеры были в большинстве своем анархистами), торжественно возвещавшие, что парикмахеры — больше не рабы. Многоцветные плакаты на улицах призывали проституток перестать заниматься своим ремеслом. Представителям искушенной, иронизирующей цивилизации англосаксонских стран казалась умилительной та дословность, с какой эти идеалисты-испанцы принимали штампованную революционную фразеологию. В эти дни на улицах продавались — по несколько центавос<sup>4</sup> штука — наивные революционные баллады, повествовавшие о братстве всех пролетариев и злодействах Муссолини. Мне часто приходилось видеть, как малограмотные ополченцы покупали эти баллады, по слогам разбирали слова, а затем, выучив их наизусть, подбирали мелодию и начинали распевать.

Все это время я находился в Ленинских казармах и, как считалось, готовился к отправке на фронт. Когда я записывался в ополчение, меня обещали послать на фронт на следующий же день. В действительности мне пришлось ждать, пока не сформируется новая центурия. Рабочее ополчение, спешно сформированное профсоюзами в начале войны, по своей структуре еще сильно отличалось от армии. Главными подразделениями в ополчении были — «секция» (примерно тридцать человек), «центурия» (около ста человек) и «колонна», которая, практически, могла насчитывать любое количество бойцов. Ленинские казармы представляли собой квартал великолепных каменных зданий с манежем и огромным мощеным двором. Это были кавалерийские казармы, захваченные во время июльских боев. Моя центурия спала в одной из конюшен под каменными кормушками, на которых еще виднелись имена лошадей. Все лошади были реквизированы и отправлены на фронт, но помещение еще воняло конской мочой и прелым овсом. Я пробыл в казарме около недели. Запомнились мне, главным образом, конские запахи, неуверенные звуки горнов (все наши горнисты были самоучками, и я выучил испанские воинские сигналы только на фронте, услышав фашистских горнистов). Запомнились мне также топот подкованных башмаков в казарменном дворе, долгие утренние парады под зимним солнцем, азартные футбольные матчи — пятьдесят на пятьдесят — на посыпанном гравием манеже. В казармах жило тогда, должно быть, около тысячи мужчин и десятка два женщин, а также жены ополченцев, варившие для нас еду. Тогда женщины все еще служили в ополчении, хотя число их было невелико. В первых боях они сражались плечом к плечу с мужчинами и это принималось как должное. Во время революции такие явления кажутся естественными. Но представления неуклонно менялись. Теперь, когда в манеже обучались ополченки, мужчин туда не пускали,

---

<sup>4</sup> Мелкая монета. (прим. пер.)

ибо они зубоскалили и мешали. Всего лишь несколько месяцев назад никому бы в голову не пришло смеяться при виде женщины с винтовкой.

В казарме царили грязь и беспорядок. Впрочем таков был удел каждого здания, которое занимали ополченцы. Казалось, что грязь и хаос — побочные продукты революции. Во всех углах валялась разбитая мебель, поломанные седла, медные кавалерийские каски, пустые ножны и гниющие отбросы. Ополченцы без нужды переводили огромное количество еды, в особенности хлеба. Например, из моего барака ежедневно после еды выбрасывалась полная корзина хлеба — вещь позорная, если вспомнить, что гражданское население в этом хлебе нуждалось. Мы ели за длинными столами — доски на козлах, — из сальных жестяных мисок. Пили мы из кошмарной штуки — поррона. Поррон — это что-то вроде стеклянной бутылки с узким горлышком, из которого сильной струйкой било вино, когда его наклоняли. Из поррона можно пить на расстоянии, не поднося горлышка к губам, передавая его по кругу. Но впервые увидев поррон в действии, я забастовал и потребовал кружку. Уж слишком напоминал он мне грелку с водой, особенно когда в него было налито белое вино.

Постепенно новобранцам выдавали обмундирование, но поскольку это была Испания, все выдавали поштучно, и никогда не было известно, кто что получил. Некоторые же вещи, в которых мы особенно нуждались, в том числе ремни и патронташи, нам выдали в последнюю минуту, когда уже был подан поезд, везший нас на фронт. Я говорил о «форме», но боюсь, что меня неправильно поймут. Этого нельзя было назвать «формой» в обычном смысле слова. Может быть лучше сказать «мультиформа». Все были одеты в общем схоже, но не было двух человек, носивших абсолютно одинаковую одежду. Все в армии носили вельветовые бриджи, но на этом сходство кончалось. Одни надевали краги, другие — обмотки, третьи — высокие сапоги. Все носили куртки на молнии, но одни куртки были из кожи, другие из шерсти всевозможных цветов. Фасонов головных уборов было столько же, сколько бойцов. Шапки обычно украшались партийными значками, а кроме того почти все повязывали на шею красный или красно-черный платок. Колонна ополченцев казалась в то время разношерстным сбродом. Но поскольку фабрики выпускали эту одежду, ее выдавали бойцам, а к тому же, учитывая обстоятельства, она была не такой уж плохой. Правда, рубашки и носки из дрянной хлопчатки совершенно не защищали от холода. Мне даже вспоминать тошно о том, как жили ополченцы в первые месяцы, когда еще ничего не было организовано. Помню, что в газете всего двухмесячной давности я наткнулся на заявление одного из лидеров Р.О.У.М.<sup>5</sup>, вернувшегося с фронта и обещавшего приложить все усилия к тому, чтобы «все ополченцы получили по одеялу». От этой фразы мороз пробирает, если вам когда-либо довелось спать в окопе.

На второй день моего пребывания в казармах началось так называемое обучение. Вначале был невероятный хаос. Новобранцы — в большинстве своем шестнадцатилетние парнишки, жители бедных барселонских кварталов, полные революционного задора, — совершенно не понимали, что такое война. Их даже невозможно было построить в одну шеренгу. Дисциплины не было никакой. Всякий, кому

---

<sup>5</sup> Р.О.У.М. — *Partido Obrero de Unificación Marxista*. Объединенная партия рабочих-марксистов. (прим. пер.)

не нравился приказ, мог выйти из строя и вступить в яростный спор с офицером. Обучавший нас лейтенант, плотный, симпатичный парень, со свежим цветом лица, был раньше кадровым офицером. Впрочем, это видно было и по его выправке, и по щегольской форме с иголочки. Любопытно, что он был искренним и заядлым социалистом. Еще больше, чем солдаты, настаивал он на полном равенстве, без различия чинов. Я помню, как он огорчился, когда один из несведущих новобранцев назвал его «сеньором». «Что?! Сеньор? Кто назвал меня сеньором? Разве мы все не товарищи?» Не думаю, чтобы это облегчало его работу. А пока, новобранцы не приобретали никакой полезной выучки. Мне сказали, что иностранцы не обязаны являться на военные занятия (как я заметил, испанцы пребывали в трогательной уверенности, что все люди, приехавшие из-за границы, знают военное дело лучше их), но я, конечно, пришел вместе с другими. Мне очень хотелось научиться стрелять из пулемета; раньше мне не довелось с ним познакомиться. К моему отчаянию обнаружилось, что нас не учат обращению с оружием. Так называемая военная подготовка была обыкновенной, давно устаревшей шагистикой глупейшего рода: направо, налево, кругом, смирно, колонна по три шагом марш и тому подобная чепуха, которой я выучился, когда мне было пятнадцать лет. Трудно было придумать что-либо бессмысленнее для подготовки партизанской армии. Совершенно очевидно, что если на подготовку солдата отведено всего несколько дней, его следует научить тому, что понадобится в первую очередь: как вести себя под огнем, передвигаться по открытой местности, стоять на карауле и рыть окопы, а прежде всего, — как обращаться с оружием. Но эту толпу рвущихся в бой ребят, которых через несколько дней собирались бросить на фронт, не учили даже стрелять из винтовки или вырывать чеку из гранаты. В то время я не сознавал, что это объяснялось отсутствием оружия. В ополчении, сформированном P.O.U.M. положение с оружием было таким отчаянным, что свежие части, выходявшие на линию огня, брали винтовки у бойцов, которых они сменяли. В Ленинских казармах винтовки были, по-видимому, только у часовых.

Прошло несколько дней. По нормальным понятиям, мы продолжали оставаться все тем же беспорядочным сбродом, но нас сочли готовыми для показа публике. Рано утром нас погнали строем в городской парк, расположенный на холме позади *Plaza de España*. Здесь был плац, на котором вышагивали ополченцы всех партий, а кроме того, карабинеры и первые соединения формируемой Народной армии. Городской парк являл собой странное и потешное зрелище. По всем дорожкам и аллеям, среди прибранных клумб, маршировали взад и вперед взводы и роты, мужчины выпячивали грудь и отчаянно старались походить на заправских солдат. Ни у кого из маршировавших по парку не было оружия, никто не был полностью обмундирован, хотя у большинства имелись кое-какие элементы форменной одежды ополчения. Процедура всегда была одинаковой. Три дня рысили туда и обратно (испанский маршевый шаг, короткий и быстрый), затем останавливались, выходили из строя и, задыхаясь от жажды, бежали вниз по холму к лавочке, торговавшей дешевым вином. Ко мне все относились очень дружелюбно. Я был англичанином, что вызывало любопытство, офицеры карабинеров очень интересовались мной и угощали вином. Как только мне удавалось оттянуть нашего лейтенанта в уголок, я начинал упрашивать его обучить меня стрельбе из пулемета. Я вытаскивал из кармана словарь Гюго и на моем варварском испанском языке начинал канючить:



— Йо се манехар фузиль. Но се манехар аметраллодора. Киеро апрендер аметраллодора. Куандо вamos апрендер аметраллодора?<sup>6</sup>

В ответ он всегда смущенно улыбался и обещал начать обучать стрельбе из пулемета «маньяна». Нечего и говорить, что это «завтра» никогда не наступило. Прошло несколько дней и новобранцы научились ходить в строю и неплохо вытягиваться по команде «смирно». Кроме того, они знали из какого конца винтовки вылетает пуля, но на том и кончались все их военные познания. Однажды, во время перерыва в занятиях, к нам подошел вооруженный карабинер и позволил посмотреть свою винтовку. Оказалось, что из всего моего взвода, кроме меня, никто не умел даже зарядить винтовку, не говоря уж об умении целиться.

Все это время я продолжал единоборство с испанским языком. В казармах кроме меня был только еще один англичанин, даже офицеры не знали ни слова по-французски. Мое положение затруднялось еще и тем, что между собой мои товарищи говорили по-каталонски. Мне не оставалось ничего другого, как всюду таскать с собой словарь, который я всякий раз выхватывал из кармана в критический момент. Но если уж быть иностранцем, то только в Испании! Как легко приобретаются здесь друзья! Не прошло и двух дней, как человек двадцать ополченцев звали меня по имени, помогали узнать все местные ходы и выходы, проявляли чудеса гостеприимства. Я не пишу пропагандистской книжки и не собираюсь идеализировать ополченцев Р.О.У.М. Вся эта система имеет серьезные недостатки, да и публика была разношерстная, ибо к тому времени запись добровольцев сократилась, а большинство лучших людей уже было на фронте или даже погибло. Был в наших рядах и абсолютно бесполезный элемент. Родители приводили записывать пятнадцатилетних ребят, не скрывая, что делают они это ради десяти пезет в день — нашего дневного жалования, а также ради хлеба, который ополченцы получали вволю и могли тайком передавать родителям. Но я убежден, что каждый, кто попадет в среду испанских рабочих (следует, пожалуй, сказать — каталонских рабочих, ибо среди моих знакомых, кроме нескольких арагонцев и андалузцев, были только каталонцы) будет поражен их внутренним благородством, и прежде всего — их прямоотой и щедростью. Испанская щедрость, щедрость в полном смысле этого слова, по временам даже способна смутить. Если вы попросите сигарету, испанец будет настаивать, чтобы вы взяли у него всю пачку. Но кроме того, есть в них щедрость в более глубоком смысле, подлинная широта души, с которой я встречался не раз и не два в наиболее трудных обстоятельствах. Кое-кто из журналистов и других иностранцев, ездивших по Испании во время войны, заявлял, что в глубине души испанцы горько сетуют на иностранную помощь. Единственное, что я могу сказать, это то, что мне ничего подобного наблюдать не приходилось. Я помню, что за несколько дней до того, как я покинул казармы, с фронта в отпуск прибыла группа бойцов. Они возбужденно делились своими фронтовыми впечатлениями и с энтузиазмом рассказывали о какой-то французской части, которая стояла рядом с ними под Уэской. Французы дрались храбро, — говорили они, добавляя с воодушевлением: «Мас валентес ке нострос» (*Más valientes que nosotros*), «Смелее

---

<sup>6</sup> Я умею обращаться с винтовкой. Я не умею обращаться с пулеметом. Хочу выучить пулемет. Когда мы будем заниматься пулеметом? (*Yo sé manejar fusil. No sé manejar ametralladora. Quiero aprender ametralladora. Cuando vamos aprender ametralladora?*). (прим. пер.)

нас!» Я, конечно, возражал, но они мне разъяснили, что французы лучше их знали военное дело, лучше бросали гранаты, стреляли из пулемета и т. д. Этот эпизод очень характерен. Англичанин скорее дал бы себе руку отрезать, чем сказал бы что-либо подобное.

Каждый иностранец, служивший в ополчении, успевал в течение нескольких недель полюбить испанцев и прийти в отчаяние от некоторых черт ) их характера. На фронте это отчаяние временами доходило у меня до бешенства. Испанцы многое делают хорошо, но война — это не для них. Все иностранцы приходили в ужас от их нерасторопности и прежде всего, — от их чудовищной непунктуальности. Есть испанское слово, которое знает — хочет он этого или нет — каждый иностранец: «*таїана*», «завтра» (буквально — «утро»). При малейшей возможности, дела, как правило, откладываются с сегодняшнего дня на «маньяна». Это факт такой печальной известности, что вызывает шутки самих испанцев. В Испании ничего, начиная с еды и кончая боевой операцией, не происходит в назначенное время. Как правило все опаздывает; но время от времени, как будто специально для того, чтобы вы не рассчитывали на постоянное опоздание, некоторые события происходят раньше назначенного срока. Поезд, который должен уйти в восемь, обычно уходит в девяносто, но раз в неделю, по странному капризу машиниста, он покидает станцию в половине восьмого. Это может стоить немалой трепки нервов. Теоретически я, пожалуй, восхищаюсь испанцами за пренебрежение временем, превратившимся у северян в невроз. Но, к несчастью, и сам я страдаю этим неврозом.

После множества слухов, *таїанас* и отсрочек, мы внезапно получили приказ двинуться в сторону фронта через два часа, хотя нам еще не успели выдать всего нужного снаряжения. В результате некоторым бойцам пришлось отправиться в путь без полной выкладки. В казармы вдруг нахлынули неизвестно откуда взявшиеся женщины, которые принялись помогать своим близким скатывать одеяла и укладывать рюкзаки. Как это ни унижительно, но мой новый кожаный патронташ помогла мне приладить испанка, жена Вильямса, еще одного англичанина-ополченца. Это было нежное, темноглазое, очень женственное существо; казалось, что ее единственное предназначение — качать детей в колыбели, но она храбро дралась во время июльских уличных боев. В казармы она пришла с ребенком, родившимся через десять месяцев после начала войны и зачатым, видимо, за баррикадой.

Поезд должен был отойти в восемь, но измученным, запарившимся офицерам удалось собрать нас на казарменном плацу лишь где-то около десяти минут девятого. Я живо помню освещенный факелами двор, крики и возбуждение, полощущиеся на ветру красные флаги, шеренги ополченцев с рюкзаками за спиной и скатками одеял, повязанных накрест через грудь, на манер пулеметных лент, шум голосов, топанье ботинок и позвякивание жестяных фляг, а потом громкое требование соблюдать тишину, которое, наконец, возымело действие. Помню голос политрука, произнесшего речь по-каталонски. Потом зашагали к вокзалу, причем вели нас самым длинным путем, километров пять или шесть, чтобы показать всему городу. На Рамблас нас на несколько минут остановили, чтобы выслушать революционный марш, исполненный духовым оркестром. И снова парад триумфаторов — крики и энтузиазм, красные и красно-черные флаги, толпы приветствующих людей на тротуарах, женщины, машущие из окон домов. Каким естественным все это казалось

тогда, каким далеким и невероятным кажется сегодня! В поезд набилось так много народу, что не было места даже на полу, не говоря уж о скамейках. В последнюю минуту на перрон прибежала жена Вильямса и дала нам бутылку вина и полметра той ярко-красной колбасы, которая отдает мылом и вызывает понос. Поезд тронулся и, оставляя позади Каталонию, пополз в сторону Арагонского плоскогорья с обычной для военного времени скоростью — около двадцати километров в час.

## 2

Город Барбастро, хотя и лежал далеко в тылу, вид имел мрачный и обшарпанный. Толпы ополченцев в потрепанной форме шагали по улицами, стараясь согреться. На развалившейся стене я обнаружил прошлогодний плакат, гласивший, что такого-то числа на арене будет убито «шесть красивых быков». Сколько уныния было в этих выцветших красках плаката! Куда делись «красивые быки» и красивые матадоры? Даже в Барселоне, как я слышал, бои быков почти не устраивались. Почему-то все лучшие матадоры оказались фашистами.

Нашу роту повезли на грузовиках в Сиетамо, а затем западнее в Алькубьерре, село, лежащее сразу же за линией фронта у Сарагосы. Сиетамо трижды переходило из рук в руки, пока в октябре анархисты окончательно не утвердились в городе. Часть домов было разрушено снарядами, а почти все остальные носили следы пуль. Теперь мы находились на высоте 500 метров над уровнем моря. Было чертовски холодно, неизвестно откуда надвинулся густой туман. Шофер грузовика заблудился где-то между Сиетамо и Алькубьерре (одна из неотъемлемых черт этой войны) и мы много часов сряду искали дорогу в тумане. В Алькубьерре мы прибыли поздней ночью. Кто-то повел нас через грязные лужи к конюшне для мулов. Мы закопались в мякину и сразу же заснули. В мякине спать не плохо, хуже чем в сене, но лучше чем на соломе. Лишь при утреннем свете я обнаружил, что в мякине полно хлебных корок, рваных газет, костей, дохлых крыс и мятых консервных банок из-под молока.

Теперь мы были недалеко от фронта, достаточно близко, чтобы уловить характерный запах войны — по моему опыту — это запах кала и загнивающей пищи. Алькубьерре не подвергалось бомбардировке и выглядело благополучнее большинства других сел в прифронтовой полосе. Но мне думается, что даже в мирное время каждому, кто проезжал эту часть Испании, не могла не броситься в глаза особая, грязная нищета арагонских деревень. Они построены как крепости со множеством скверных, ютящихся вокруг церкви хибарок, слепленных из глины и камней. Даже весной вы нигде не увидите цветка, возле домов нет палисадников, — лишь задворки, где тощие куры бегают по навозным кучам. Погода была отвратительная: то дождь, то туман. Узкие дороги превратились в моря сплошной грязи. В ней буксовали грузовики и плыли неуклюжие крестьянские телеги, влекомые вереницей мулов; иногда в упряжке шло шесть мулов, всегда впрягаемых цугом. Из-за отрядов войск, непрерывно тянувшихся через село, оно утопало в невообразимой грязи. Здесь никогда не знали, что такое уборная или канализация какого-либо рода; в результате теперь не оставалось ни одного клочка земли, по которому можно было бы пройти, не глядя с опаской под ноги. Церковь уже давно использовали в качестве уборной, загадили и поля на сотни метров вокруг. Первые два месяца войны навсегда связаны в моей

---

<sup>1</sup> Военный Комитет. (прим. пер.)

памяти с холодными сжатыми полями, покрытыми по краям коркой человеческих испражнений.

Прошло два дня, но мы еще не получили винтовок. Побывав в *Comité de Guerra*<sup>1</sup> и осмотрев ряд дырок в стене — следы пуль (здесь расстреливали фашистов), вы исчерпывали все достопримечательности Алькубьерре. На фронте, видимо, было затишье; через село проходило очень мало раненых. Главным развлечением было прибытие дезертиров из фашистской армии, которых приводили под конвоем. На этом участке многие из солдат, сражавшихся против нас, были вовсе не фашисты, а незадачливые мобилизованные, имевшие несчастье проходить действительную службу в тот момент, когда началась война, и мечтавшие о побеге. Время от времени небольшие группы этих солдат решались на переход линии фронта. Нет сомнения, что число дезертиров было бы больше, если бы у многих из них родственники не оставались на фашистской территории. Эти дезертиры были первыми «настоящими» фашистами, которых я увидел. Меня поразило, что они ничем не отличались от наших, если не считать комбинезонов цвета хаки. Они всегда прибывали к нам голодными как волки, после одного или двух дней блуждания по ничейной земле. Но у нас с триумфом подчеркивали, вот, дескать, фашистские войска умирают с голоду. Я смотрел, как кормили одного из дезертиров в крестьянском доме. Зрелище было, скорее, печальным. Высокий парень лет двадцати, с сильно обветренным лицом, в изорванной одежде, присев на корточки возле очага, с отчаянной быстротой кидал себе в рот из миски ложку за ложкой тушеное мясо; его глаза, не переставая, бегали по лицам ополченцев, стоявших вокруг и глазевших на него. Я думаю, он еще наполовину верил в то, что мы кровожадные «красные», которые расстреляют его, как только он кончит еду; вооруженный часовой успокаивающе похлопывал парня по плечу, что-то приговаривая. Запомнился день, когда враз явилось пятнадцать дезертиров. Их с триумфом провели через всю деревню, причем впереди ехал человек на белом коне. Мне удалось сделать не очень удачную фотографию, которую у меня потом украли.

На третий день нашего пребывания в Алькубьерре прибыли винтовки. Старший сержант с грубоватым темно-желтым лицом выдавал нам оружие в конюшне. Я пришел в отчаяние, увидев, что выпало на мою долю. Это был немецкий «Маузер» образца 1896 года, то есть более чем сорокалетней давности. Винтовка заржавела, затвор ходил с трудом, деревянная накладка ствола была расколота, один взгляд в дуло убедил меня, что и оно безнадежно заржавело. Большинство винтовок было не лучше, а некоторые даже хуже моей. Никто даже не подумал о том, что винтовки лучше следовало бы дать тем, кто умеет с ними обращаться. Самая лучшая винтовка, сделанная всего десять лет назад, оказалась у пятнадцатилетнего кретина по прозвищу *maricón* («девчонка»). Сержант отвел на обучение пять минут, разъяснив, как заряжать винтовку и как разбирать затвор. Многие из ополченцев никогда раньше не держали винтовку в руках и лишь очень немногие знали, зачем нужна мушка. Были розданы патроны по пятьдесят штук на человека. Затем нас выстроили в шеренгу и мы, закинув за спину рюкзаки, двинулись в сторону фронта, находившегося всего в пяти километрах от нас.

Центурия — восемьдесят человек и несколько собак — вразброд отправились в путь. Каждая колонна ополчения имела при себе в качестве талисмана, по меньшей

мере, одну собаку. Возле нас плелся несчастный пес, на шкуре которого выжгли большими буквами P.O.U.M. Казалось, что он стыдился своего злосчастного вида. Впереди колонны, рядом с красным знаменем, ехал на вороном коне наш командир, кряжистый бельгиец Жорж Копп. Чуть впереди его гарцевал молоденький и очень смахивающий на бандита боец ополченской кавалерии. Он галопом взлетал на каждый бугорок и застывал на вершине в самых живописных позах. Во время революции было захвачено много отличных лошадей испанской кавалерии, лошади были отданы ополченцам, которые, разумеется, делали все, чтобы заездить их насмерть.

Дорога вилась среди желтых неплодородных полей, запущенных еще со времени сбора прошлогоднего урожая. Впереди лежала низкая сьерра, отделяющая Алькубьерре от Сарагосы. Мы приближались к фронту, приближались к бомбам, пулеметам и грязи. В глубине души я испытывал страх. Я знал, что в данную минуту на фронте затишье, но в отличие от большинства моих соотечественников я помнил первую мировую войну, хотя и не принимал в ней участия. Война связывалась у меня со свистом пуль, градом стальных осколков, но прежде всего она означала грязь, вши, голод и холод. Как ни странно, но холода я боялся больше, чем врага. Мысль о холоде преследовала меня во время всего пребывания в Барселоне; случалось даже, что я не спал по ночам, думая о холоде в окопах, о побудке в предрассветной мгле, о долгих часах на карауле, с заиндеветшей винтовкой, о ледяной грязи, попадающей в башмаки. Признаюсь, что я испытывал нечто вроде ужаса, глядя на людей, маршировавших рядом со мной. Вы, пожалуй, не сможете себе представить, что это был за сброд. Мы тащились по дороге, как стадо баранов; не успев пройти и двух километров, мы потеряли из виду конец колонны. А половина наших так называемых бойцов была детьми, причем, детьми в буквальном смысле слова, ребятами не старше шестнадцати лет. Но все они были счастливы и приходили в восторг от мысли, что наконец-то идут на фронт. Приближаясь к линии фронта, ребята, шедшие впереди с красным знаменем, начали выкрикивать: «*Visca P.O.U.M. ! Fascistas-maricones!*»<sup>2</sup> и так далее. Им хотелось, чтобы эти крики были воинственными и угрожающими, но в ребячьих устах они звучали жалобно, как мяуканье котят. Так вот они — защитники Республики — толпа оборванных детей, вооруженных изношенными винтовками, с которыми они не умели даже обращаться. Помню, я задавал себе тогда вопрос: а что, если над нашими головами вдруг появится фашистский самолет? Станет ли летчик пикировать на нас и выпустит ли пулеметную очередь? Я уверен, что даже с воздуха было видно, что мы не настоящие солдаты.

Дойдя до сьерры, мы повернули направо и стали взбираться по узкой тропе для мулов, вившейся по склону горы. В этой части Испании холмы имели странную форму — подковообразные, с плоскими вершинами и очень крутыми склонами, опадавшими в глубокие овраги. На холмах рос только карликовый кустарник и вереск, всюду виднелись белые кости известняка. Фронт не представлял здесь сплошной линии окопов; в этой гористой местности ее трудно было бы построить; это была цепь укрепленных постов, сооруженных на вершинах холмов. Их называли «позициями». Издалека можно было увидеть нашу «позицию» на вершине подковы; неровная

---

<sup>2</sup> Да здравствует ПОУМ! Фашисты — трусы! (прим. пер.)

баррикада из мешков с песком, развевающийся красный флаг, дым костра. Подойдя ближе, вы чувствовали тошнотворную, приторную вонь, от которой я не мог потом отделаться в течение долгих недель. Месяцами все отбросы сваливались прямо у позиции — гора гнилых хлебных корок, экскрементов и ржавых банок.

Рота, которой мы пришли на смену, собирала свои рюкзаки. Они держали фронт три месяца; форма солдат была вся в грязи, их башмаки разваливались, почти все они заросли густой щетиной. Из своего окопа вылез капитан, командир позиции Левинский, которого все, впрочем, звали Бенжамен. Это был польский еврей, говоривший по-французски как француз, молодой человек лет двадцати пяти, невысокого роста, с черными жесткими волосами, с бледным и живым лицом, которое, как у всех на этой войне, было постоянно грязным. Высоко над нами свистнуло несколько случайных пуль. Позиция представляла собой полукруг, диаметром примерно в сорок пять метров, с бруствером, сложенным из мешков с песком и кусков известняка. Здесь же было отрыто около тридцати или сорока окопчиков, напоминавших крысиные норы. Вильяме, я и испанец, шурин Вильямса, нырнули в первый приглянувшийся нам свободный окоп. Где-то впереди время от времени бухали винтовочные выстрелы и прокатывались эхом по каменистым холмам. Мы едва успели скинуть наши рюкзаки и вылезти из окопа, как раздался новый выстрел, и один из наших ребяташек отскочил от бруствера; кровь заливала ему лицо. Он выстрелил из винтовки и каким-то образом умудрился взорвать затвор; осколки разорвавшейся гильзы в ключья порвали ему кожу на голове. Это был наш первый раненый и ранил он себя сам.

Вечером мы выставили свой первый караул и Бенжамен показал нам всю позицию. Перед бруствером в скале была выбита сеть узких траншей, с примитивными амбразурами, сложенными из кусков известняка. В этих траншеях и за бруствером размещалось двенадцать часовых. Перед окопами была натянута колючая проволока, а потом склон опадал в, казалось, бездонный овраг. Напротив виднелись голые холмы, серые и холодные, местами просто обнаженные скалы. Нигде не видно было и следа жизни, даже птицы не летали. Я осторожно глянул в амбразуру, пытаюсь обнаружить фашистские окопы.

— Где противник?

Бенжамен описал рукой широкий круг.

— Там. (Бенжамен говорил на кошмарном английском).

— Где там?

По моим представлениям о позиционной войне, фашистские окопы должны были находиться в пятидесяти или ста метрах от наших. Я же не видел ничего, — по видимому, их окопы были очень хорошо замаскированы. И вдруг я понял, что Бенжамен показывает на верхушку лежащего напротив нас холма, за овраг, по меньшей мере в семистах метрах от нас. Я увидел тонкую полоску бруствера и красно-желтый флаг — фашистская позиция. Я был невероятно разочарован. Мы находились так далеко от противника! На этом расстоянии от наших винтовок пользы не было никакой. Но в этот момент раздался чей-то возбужденный возглас. Два фашиста (из-за расстояния мы различали только две серые фигурки) ползли по голому склону противоположного холма. Бенжамен выхватил у стоящего рядом бойца винтовку,

прицелился и нажал спусковой крючок. Щелк! Холостой патрон; я подумал: скверное предзнаменование.

Не успели новые часовые занять свои посты в траншее, как они открыли яростный огонь, стреляя в белый свет, как в копеечку. Я видел фашистов, — маленькие как муравьи, они сновали за бруствером туда и обратно, а по временам, на мгновение, как черная точка, нахально высывалась незащищенная голова. Было очевидно, что стрелять совершенно бесполезно. Но, тем не менее, стоящий слева от меня часовой, по испанскому обычаю покинувший свой пост, подсел ко мне и стал упрашивать, чтобы я выстрелил. Я пытался объяснить ему, что попасть в человека на таком расстоянии из моей винтовки можно, разве что, случайно. Но это был сущий ребенок: он продолжал показывать винтовкой на одну из точек, нетерпеливо скаля зубы, как собака, ждущая момента, когда она сможет броситься вслед за кинутым камушком. Не выдержав, я поставил прицел на семьсот метров и пальнул. Точка исчезла. Надеюсь, что пуля прошла достаточно близко, чтобы фашист подскочил. Впервые в жизни я выстрелил в человека.

Увидев, наконец-то, фронт, я вдруг почувствовал глубокое отвращение. Какая же это война?! Мы почти не соприкасались с противником, я ходил по окопу в полный рост. Но чуть погодя, мимо моего уха с отвратительным свистом пролетела пуля и врезалась в тыльный траверс. Увы! — Я пригнулся. Всю свою жизнь я клялся, что не поклонюсь первой пуле, которая пролетит мимо меня, но движение это, оказывается, инстинктивное, и почти все, хотя бы раз, его делают.



### 3

В окопной жизни важны пять вещей: дрова, еда, табак, свечи и враг. Зимой на Сарагосском фронте они сохраняли свое значение именно в этой очередности, с врагом на самом последнем месте. Враг, если не считаться с возможностью ночной атаки, никого не занимал. Противник — это далекие черные букашки, изредка прыгавшие взад и вперед. По-настоящему обе армии заботились лишь о том, как бы согреться.

Попутно замечу, что за все время моего пребывания в Испании я видел очень мало боев. Я находился на Арагонском фронте с января по май, но между январем и концом марта на фронтах, если не считать Теруэльского, ничего, или почти ничего, не происходило. В марте шли тяжелые бои за Хуэску, но лично я принимал в них очень небольшое участие. Позднее в июне, была эта злосчастная атака на Хуэску, в ходе которой несколько тысяч человек было убито в один день, я же был ранен еще до этого. Все то, что принято называть ужасами войны почти не коснулось меня. Самолеты не сбрасывали бомб поблизости, снаряды, сколько я помню, никогда не разрывались ближе чем в пятидесяти метрах от меня. Лишь однажды я участвовал в рукопашной схватке. (Замечу, что один раз — это на один раз больше, чем нужно). Я, конечно, часто попадал под пулеметный огонь, но обычно огонь велся с далекого расстояния. Даже под Хуэской было сравнительно безопасно, при условии, что вы принимали разумные меры предосторожности.

Здесь, среди холмов, окружающих Сарагосу, нас донимали только скука и неудобства позиционной войны, — жизнь, как у городского клерка лишенная существенных событий и почти такая же размеренная: караул, патруль, рытье окопов; рытье окопов, патруль, караул. На вершинах холмов, фашисты или республиканцы, горстки оборванных, грязных людей, дрожащих вокруг своих флагов и старающихся согреться. А дни и ночи напролет — случайные пули, летящие через пустые долины и лишь по какому-то невероятному стечению обстоятельств попадающие в человеческое тело.

Часто, глядя на холодный, зимний пейзаж я думал о тщете всего происходящего. Войны наподобие этой всегда заканчиваются ничем. Раньше, в октябре, за эти холмы велись отчаянные бои; а потом, когда из-за нехватки солдат, оружия и, в первую очередь, артиллерии, крупные операции стали невозможными, обе армии окопались и закрепились на вершинах тех холмов, которые им удалось захватить. Вправо от нас держал позицию небольшой отряд P.O.U.M., а левее на отроге находилась позиция P.S.U.C., перед которой высилась гора, усыпанная точками фашистских постов. Так называемая линия фронта шла такими зигзагами взад и вперед, что никто не смог бы разобраться в положении, если бы над каждой позицией не реял флаг. P.O.U.M. и P.S.U.C. вывешивали красный флаг, анархисты — красно-черный, либо республиканский — красно-желто-пурпурный. Вид был изумительный, следовало только забыть, что вершину каждой горы занимали солдаты, а кругом все было загажено консервными банками и человеческим калом. Вправо от нас сьерра поворачивала на юго-запад,

освобождая место широкой, с прожилками потоков, равнине, тянущейся до самой Хуэски. Посреди равнины было разбросано несколько маленьких кубиков, напоминавших игральные кости; это был город Робрес, находившийся в руках фашистов. Часто по утрам долина тонула в море облаков, над которыми высились плоские голубые холмы, делавшие пейзаж похожим на фотонегатив. За Хуэской виднелось много таких холмов, покрытых меняющимся каждый день снежным узором. Далеко-далеко плыли в пустоте исполинские вершины Пиренеев, на которых никогда не тает снег. Но и внизу в долине все выглядело мертвым и голым. Видневшиеся напротив холмы были серы и сморщены, как кожа слона. В пустом небе почти никогда не появлялись птицы. Никогда еще, пожалуй, я не видел страны, в которой было бы так мало птиц. Нам случалось иногда замечать птиц, похожих на сороку, стаи куропаток, внезапно вспархивающих ночью и пугавших часовых, и, очень редко, медленно круживших в небе орлов, презрительно не замечавших винтовочной пальбы, которую открывали по ним солдаты.

По ночам и в туманные дни в долину, лежащую между нами и фашистами, уходили патрули. Наряды эти никто не любил — слишком холодно, да и заблудиться недолго. Вскоре я выяснил, что могу идти в патруль всякий раз, когда мне вздумается. В огромных ущельях не было ни дорог, ни тропинок; нужно было каждый раз запоминать приметы, чтобы найти дорогу обратно. По прямой линии фашистские окопы находились от нас в семистах метрах, но чтобы добраться до них нужно было пройти больше двух километров. Мне доставляло удовольствие блуждать в темных долинах под свист случайных пуль, с птичьим тирликаньем пролетающих высоко над головой. Еще лучше были вылазки в туманные дни. Туман часто держался весь день; обычно он покрывал только вершины, а в долинах было светло. Приближаясь к фашистским позициям, следовало ползти медленно, как улитка; было очень трудно передвигаться бесшумно по склонам холмов, не ломая кустов и не роняя камней. Лишь на третий или четвертый раз мне удалось подобраться к фашистской позиции. Лежал очень густой туман, я подполз вплотную к колючей проволоке и начал прислушиваться. Фашисты разговаривали и пели. Но потом я вдруг со страхом услышал, что несколько из них спускаются по холму в моем направлении. Я спрятался за куст, который вдруг показался мне очень маленьким, и попытался бесшумно взвести курок. Но фашисты свернули в сторону, не дойдя до меня. За прикрывшим меня кустом я обнаружил различные следы прежних боев — горку пустых гильз, кожаную фуражку с дыркой от пули, красный флаг, несомненно принадлежавший нашим. Я забрал флаг с собой, на позицию, где его без всяких сантиментов порвали на тряпки.

Как только мы прибыли на фронт, меня произвели в капралы, или *cabo*, как говорили испанцы. Под моей командой было двенадцать человек. Должность не была синекурой, особенно на первых порах. Центурия представляла собой необученную толпу, состоявшую главным образом из мальчишек 15-18 лет. Случалось, что в отрядах ополчения попадались дети 11-12 лет, обычно беженцы с территории занятой фашистами. Запись в ополчение была наиболее простым способом их прокормить. Как правило, детей использовали на легких работах в тылу, но случалось, что они попадали и на фронт, где превращались в угрозу для собственных войск. Я помню, как такой маленький звереныш кинул в свой же окоп гранату, «для смеху». В Монте Почеро, сколько мне помнится, не было никого моложе пятнадцати лет, хотя средний

возраст бойцов был значительно ниже двадцати. Пользы от ребят этого возраста на фронте нет никакой, ибо они не могут обходиться без сна, что в окопной войне совершенно неизбежно. Сначала никак нельзя было наладить ночную караульную службу. Несчастных ребятишек из моего отделения можно было разбудить только вытащив за ноги из окопа. Но стоило лишь повернуться к ним спиной, как они бросали пост и ныряли в свой окопчик, или же, несмотря на дикий холод, мгновенно засыпали, стоя, опершись на бруствер. К счастью, враг был на редкость малопредприимчив. Бывали ночи, когда мне казалось, что двадцать бойскаутов с духовыми ружьями или двадцать девчонок со скалками легко могут захватить нашу позицию.

В этот период и еще долгое время спустя каталонское ополчение было организовано так же, как и в самом начале войны. В первые дни франкистского мятежа все профсоюзы и партии создали собственные отряды ополченцев; каждый из них был по сути дела политической организацией, подчиненной своей партии не в меньшей мере, чем центральному правительству. Когда в начале 1937 года была создана Народная армия, представлявшая собой «неполитическую» формацию более или менее обычного типа, в нее, — так гласила теория, — влились отряды ополчения всех партий. Но долгое время все изменения оставались только на бумаге. Соединения новой Народной армии прибыли на Арагонский фронт по существу лишь в июне, а до этого времени система народного ополчения оставалась без изменений. Суть этой системы состояла в социальном равенстве офицеров и солдат. Все — от генерала до рядового — получали одинаковое жалованье, ели ту же пищу, носили одинаковую одежду. Полное равенство было основой всех взаимоотношений. Вы могли свободно похлопать по плечу генерала, командира дивизии, попросить у него сигарету, и никто не считал бы это странным. Во всяком случае, в теории каждый отряд ополчения представлял собой демократию, а не иерархическую систему подчинения низших органов высшим. Существовала как бы договоренность, что приказы следует исполнять, но, отдавая приказ, вы отдавали его как товарищ товарищу, а не как начальник подчиненному. Имелись офицеры и младшие командиры, но не было воинских званий в обычном смысле слова, не было чинов, погон, щелканья каблуками, козыряния. В лице ополчения стремились создать нечто вроде временно действующей модели бесклассового общества. Конечно, идеального равенства не было, но ничего подобного я раньше не видел и не предполагал, что такое приближение к равенству вообще мыслимо в условиях войны.

Признаюсь, однако, что впервые увидев положение на фронте, я ужаснулся. Как может такая армия выиграть войну? В это время все задавали этот вопрос, но, будучи справедливым, он был все же неуместен. В данных обстоятельствах ополчение не могло быть намного лучше. Современная механизированная армия не рождается на пустом месте, и если бы правительство решило ждать, пока не будет создана регулярная армия, Франко шел бы вперед, не встречая сопротивления. Позднее стало модным ругать ополчение, и приписывать все его недостатки не отсутствию оружия и необученности, а системе равенства. В действительности же, всякий новый набор ополченцев представлял собой недисциплинированную толпу не потому, что офицеры называли солдат «товарищами», а потому, что всякая группа новобранцев — это всегда недисциплинированная толпа. Демократическая «революционная» дисциплина на практике гораздо прочнее, чем можно ожидать. В рабочей армии

дисциплина — теоретически — добровольна, ибо основана на классовой преданности, в то время, как в буржуазной армии, дисциплина держится в конечном итоге на страхе. (Народная армия, заменившая ополчение, занимала промежуточное место между этими двумя типами вооруженных сил). В ополчении никогда бы не смирились с издевательствами и скверным обращением, характерным для обычной армии. Обычные военные наказания существовали, но их применяли только в случае серьезных нарушений. Если боец отказывался выполнить приказ, то его наказывали не сразу, взывая прежде к его чувству товарищества. Циники, не имевшие опыта обращения с бойцами, поторопятся заверить, что из этого «ничего не получится», на самом же деле «получалось». Шли дни, и дисциплина даже наиболее буйных отрядов ополчения заметно крепла. В январе я чуть не поседел, стараясь сделать солдат из дюжины новобранцев. В мае я короткое время замещал лейтенанта и командовал 30 бойцами, англичанами и испанцами. Мы уже несколько месяцев находились под огнем, и у меня не было никаких трудностей добиться выполнения приказов или найти добровольца для опасного задания. В основе «революционной» дисциплины лежит политическая сознательность — понимание, почему данный приказ должен быть выполнен; необходимо время, чтобы воспитать эту сознательность, но ведь нужно время и для того, чтобы муштрой на казарменном дворе сделать из человека автомат. Журналисты, которые посмеивались над ополченцами, редко вспоминали о том, что именно они держали фронт, пока в тылу готовилась Народная армия. И только благодаря «революционной» дисциплине отряды ополчения оставались на фронте; примерно до июня 1937 года их удерживало в окопах только классовое сознание. Одиночных дезертиров можно расстрелять — такие случаи были, — но если бы тысячи ополченцев решили одновременно покинуть фронт, никакая сила не смогла бы их удержать. В подобных условиях регулярная армия, не имея в тылу частей заграждения, безусловно разбежалась бы. А ополчение держало фронт (хотя, сказать правду, на его счету было немного побед и к тому же, оно почти не знало дезертирства. В течение четырех или пяти месяцев, которые я провел в Р.О.У.М., я слышал лишь о четырех случаях дезертирства, причем двое из дезертиров были, несомненно, шпионами. В первое время меня ужасал и бесил хаос, полная необученность, необходимость минут пять уговаривать бойца выполнить приказ. Я жил представлениями об английской армии, а испанское ополчение, право, ничем не походило на английскую армию. Но учитывая все обстоятельства, нужно признать, что ополчение воевало лучше, чем можно было ожидать.

А пока дрова, дрова и снова — дрова. В дневнике, который я вел в эти месяцы, нет, пожалуй, ни одной записи, в которой не говорилось бы о дровах, вернее — об отсутствии таковых. Мы находились на высоте 700-1000 метров над уровнем моря, была середина зимы, и стоял невообразимый холод. Правда, температура не опускалась очень низко и часто по ночам не доходила даже до нуля, к тому же в полдень, примерно на час, показывалось зимнее солнце; но если в действительности и не было так холодно, нам этот холод казался очень сильным. Иногда со свистом налетал порыв ветра, срывавший шапки и лохмативший волосы, иногда окопы заливал туман, пронизывавший до костей, часто шли дожди; достаточно было пятнадцатиминутного дождя, чтобы превратить нашу жизнь в муку. Тонкий слой земли, покрывавший известняк, превращался в слизистую жижу, по которой

неудержимо скользили ноги, тем более, что ходить приходилось по склонам холма. Темной ночью я, случалось, падал пять-шесть раз на протяжении двадцати метров, а это было опасно, ибо затвор заедало из-за набившейся в него грязи. На протяжении многих дней грязь покрывала одежду, башмаки, одеяла, винтовки. Я захватил с собой столько теплой одежды, сколько мог унести, но многие из бойцов были одеты из рук вон плохо. На весь гарнизон, насчитывавший около ста человек, имелось всего двенадцать шинелей, которые выдавались только часовым. У большинства бойцов было только по одному одеялу. Как-то ледяной ночью я занес в дневник список надетых на меня вещей. Он любопытен, поскольку показывает, какое количество одежды способен напялить на себя человек. На мне были: толстая нательная рубашка и кальсоны, фланелевая рубаха, два свитера, шерстяной пиджак, кожаная куртка, вельветовые бриджи, обмотки, толстые носки, ботинки, тяжелый плащ-дождевик, шарф, кожаные перчатки с подбивкой и шерстяная шапка. И тем не менее, я трясся как осиновый лист. Правда, следует признаться, что я необычайно чувствителен к холоду.

Единственное, что имело для нас значение — это были дрова. Вся штука заключалась, однако, в том, что дров-то на деле не было. Наша гора не могла похвастаться своей растительностью и, в лучшие времена; теперь же, после того как многие месяцы здесь стояли мерзнувшие ополченцы, на ней нельзя было найти даже прутика толщиной в палец. Все время, свободное от еды, сна и караулов, мы проводили в долине за позицией в поисках топлива. Думая об этом времени, я вспоминаю прежде всего о том, как карабкался по почти отвесным откосам острых известняковых скал, разбивая ботинки, в попытке добраться до какого-нибудь чахлого кустика. Трем солдатам в течение нескольких часов удалось собрать такое количество хвороста, которого хватало на час горения. Отчаянная погоня за топливом превратила нас в ботаников. Каждая былинка, росшая на склонах горы, классифицировалась в зависимости от ее «горючих» свойств; различные виды вереска и трав годились для растопки, но сгорали в течение нескольких минут, дикий розмарин и тонкие кустики дрока шли в огонь лишь тогда, когда костер уже успевал разгореться, карликовый дуб (дереvце, чуть ниже куста крыжовника) почти не поддавался огню. На самой вершине, влево от нашей позиции, рос сухой, великолепно горевший тростник. Но собирать его нужно было под вражеским обстрелом. Завидев нас, фашистские пулеметчики открывали ураганный огонь, выпуская сразу целую ленту. Обычно они брали слишком высокий прицел, и пули, как птицы, пели над головами, но иногда они откалывали известняк в неприятной близости и тогда нужно было упасть и прижаться к земле. Но мы продолжали собирать тростник. Ничто не было так важно, как топливо.

По сравнению с холодом, все другие неудобства казались нам ничтожными. Мы, разумеется, ходили постоянно грязными. Воду, как и пищу, нам привозили на вьючных мулах из Алькубьерре и на одного человека приходилось чуть больше литра в день. Вода была отвратительная, не прозрачнее молока. Официально нам выдавали воду только для питья, но мне всегда удавалось украсть вдобавок полную жестяную кружку, чтобы умыться. Обычно, я один день мылся, а брился на следующий. Чтобы проделать обе эти операции в одно и то же время не хватало воды. Позиция немилосердно воняла, за нашей небольшой баррикадой всюду валялись кучи кала.

Некоторые из ополченцев испражнялись в окопе, вещь омерзительная, особенно когда ходишь в темноте. Но грязь меня никогда не беспокоила. О грязи слишком много говорят. С удивительной быстротой привыкаешь обходиться без носового платка и есть из той же миски, из которой умываешься. Через день-два перестает мешать то, что спишь в одежде. Ночью нельзя было, конечно, ни раздеться, ни снять башмаков; следовало постоянно быть готовым к отражению атаки. За восемьдесят дней я снимал мою одежду три раза, правда, несколько раз мне удавалось раздеваться днем. Вшей у нас не было из-за холода, но крысы и мыши расплодились в большом количестве. Часто говорят, что крысы и мыши вместе не живут. Оказывается, они вполне уживаются — когда есть достаточно пищи.

В других отношениях нам было неплохо. Еда была вполне приличная, вина отпускали вдоволь. Нам выдавали пачку сигарет в день и коробку спичек на два дня, а кроме того мы получали даже свечи. Это были очень тоненькие свечки, похожие на те, которыми украшают рождественские куличи. Все единодушно считали, что их украли из церкви. Каждый окоп получал по три семисантиметровых свечи в день, каждой из которых хватало примерно на двадцать минут горения. В то время свечи еще были в продаже, и я захватил с собой несколько фунтов. Позднее, нехватка свечей и спичек ощущалась мучительнейшим образом. Значение этих вещей начинаешь понимать лишь тогда, когда их лишаешься. Во время ночной тревоги, например, когда каждый хватается за свою винтовку, топча всех по пути, возможность зажечь свечу может спасти жизнь. У каждого ополченца имелись кремень с огнивом и с полметра желтого фитиля. Это было его самое драгоценное имущество, если не считать винтовки. Кремень с огнивом имели то огромное преимущество, что искру можно было высечь даже на ветру, зато она не годилась для разжигания костра. Когда спички окончательно исчезли, единственной возможностью разжечь костер стал порох, который мы высыпали из гильзы и поджигали искрой.

Мы жили необычной жизнью, тем более, что мы воевали, если это можно назвать войной. Ополченцы жаловались на бездействие, шумно добивались объяснения, почему нас не поднимают в атаку. Но было совершенно очевидно, что если враг не начнет первым, то ждать боя придется еще очень долго. Во время своих периодических инспекций Жорж Копп говорил с нами совершенно откровенно. «Это не война, — заявлял он обычно, — а комическая опера со случающейся время от времени смертью». Впрочем застой на Арагонском фронте имел свои политические причины, о которых я в то время не имел понятия; но чисто военные трудности, не говоря уже об отсутствии людских резервов, были для всех очевидны.

Эти трудности начинались прежде всего с характера местности. Фронт, и с нашей, и с фашистской стороны, прикрывали позиции, представлявшие собой исключительно сильные естественные препятствия, подойти к которым можно было, как правило, только с одной стороны. Достаточно было вырыть несколько окопов, чтобы сделать такую позицию неприступной для пехоты, разве что атакующая сторона имела бы громадный численный перевес. Дюжина бойцов с двумя пулеметами могла легко удержать нашу позицию, даже если ее штурмовал бы целый батальон противника. Так же обстояли дела и на большинстве соседних позиций. Сидя на макушке холмов, мы представляли собой заманчивую цель для артиллерии; но артиллерии у врага не было. Иногда, глядя на окружающий нас пейзаж, я мечтал, — страстно мечтал, —

о нескольких батареях. Пушки раздолбили бы неприятельские позиции с такой же легкостью, с какой молоток раскалывает орех. Но у нас пушек не было совершенно. Фашисты изредка ухитрялись подтянуть одно-два орудия из Сарагосы и выпустить несколько снарядов, которые падали в пустые овраги, не причинив никакого вреда. Фашисты прекращали огонь, так и не успев пристреляться. Не имея артиллерии, под дулами пулеметов, можно было выбрать лишь один из трех путей: зарыться в землю на безопасном расстоянии, скажем четырехсот метров, наступать по открытой местности и дать себя расстрелять в упор, или же делать ночные вылазки, которые все равно не меняют общего положения. По существу, выбирать можно было между самоубийством и полной неподвижностью.

Вдобавок ко всему этому, полностью отсутствовали какие бы то ни было военные материалы. Необходимо некоторое усилие, чтобы представить, как скверно было снаряжены ополченцы тех дней. В военном кабинете каждой солидной английской школы было больше современного оружия, чем у нас. Мы были вооружены так плохо, что об этом стоит рассказать подробнее.

На этом участке фронта вся артиллерия состояла из четырех минометов, на каждый из которых приходилось всего пятнадцать мин. Само собой разумеется, что минометы были слишком драгоценны, чтобы из них стрелять, поэтому они хранились в Алькубьерре. Примерно на каждые пятьдесят человек приходился пулемет; это были пулеметы старых образцов, но из них можно было вести довольно прицельный огонь на расстоянии трехсот-четырехсот метров. Помимо этого, мы располагали только винтовками, причем место большинству из них было на свалке. Винтовки были трех образцов. Во-первых, длинный маузер. Как правило, эти винтовки служили уже не менее двадцати лет, от их прицельного устройства было столько же пользы, как от поломанного спидометра, у большинства нарезка безнадежно заржавела; впрочем, одной винтовкой из десяти можно было пользоваться. Затем имелся короткий маузер, или тоивдие 10п, по существу кавалерийский карабин. Эта винтовка пользовалась популярностью из-за своей легкости и небольшого размера, удобного в окопных условиях. Кроме того мускетоны были сравнительно новы и имели приличный вид. В действительности же пользы от них не было почти никакой. Их собирали из старых частей, ни один из затворов не подходил к винтовке, три четверти из них заедало после первых пяти выстрелов. Наконец, было несколько винчестеров. Из них было удобно стрелять, но пули летели неизвестно куда, к тому же обойм не было и после каждого выстрела приходилось винтовку перезаряжать. патронов было так мало, что каждому бойцу, прибывавшему на фронт, выдавалось всего по пятьдесят штук, в большинстве своем исключительно скверных. Все патроны испанского производства были набиты в уже однажды использованные гильзы и поэтому даже самую лучшую винтовку очень скоро заедало. Мексиканские патроны были сортом повыше и мы берегли их для пулеметов. По настоящему хорошей аммуниции — немецкой — у нас почти не было, ибо забирали мы ее у пленных или дезертиров. Я всегда держал в кармане обойму немецких или мексиканских патронов — на случай непредвиденных обстоятельств. Но когда такие обстоятельства наступали, я редко стрелял из своей винтовки, опасаясь, как бы эту проклятую штуку не заело, и боясь остаться без патронов.

У нас не было ни касок, ни штыков, почти не было пистолетов и револьверов, одна бомба приходилась на пятьдесят человек. Бомбой нам служила жуткая штука, известная под названием бомбы «F.A.I.»<sup>1</sup>, ибо их изготовляли в первые дни войны анархисты. Она была сделана по принципу гранаты Миллса, но чеку придерживала не шпилька, а шнурок. Вы рвали шнурок и как можно быстрее старались избавиться от гранаты. У нас говорили, что это «беспристрастные» бомбы, они убивали и тех, в кого их бросали, и того, кто их бросал. Были и другие виды гранат, еще более примитивные, но пожалуй менее опасные, — для бросающего, разумеется. Лишь в конце марта я впервые увидел гранату достойную своего назначения.

Не хватало не только оружия, но и всего другого снаряжения, необходимого на войне. Мы не имели, например, ни карт, ни схем. Полной топографической карты Испании не существовало вообще. Единственными подробными картами местности были старые военные карты, почти все оказавшиеся в руках фашистов. У нас не было ни дальномеров, ни перископов, ни полевых биноклей, если не считать нескольких личных, ни сигнальных ракет, ни саперных ножниц для резки колючей проволоки, ни инструмента для оружейников, нечем было даже чистить оружие. Испанцы, казалось, никогда не слышали о протирке и пришли в изумление, когда я изготовил нужный инструмент. Когда надо было прочистить винтовку, шли к сержанту, хранившему длинный, обычно изогнутый и царапавший нарезку медный шомпол. Не было даже ружейного масла. Винтовки смазывались оливковым маслом, если его удавалось достать; в разное время я смазывал свою винтовку вазелином, кольдкремом, и даже свиным салом. Не было, также, ни ламп, ни электрических фонариков. Я думаю, что в то время на всем нашем участке не было ни одного электрического фонаря, а ближе чем в Барселоне купить его было нельзя, да и там с трудом.

Шло время, и под звуки беспорядочной стрельбы, трещавшей среди холмов, я с нарастающим скептицизмом ждал событий, которые внесли бы немножко жизни, или вернее смерти, в эту дурацкую войну. Мы воевали с воспалением легких, а не с противником. Если расстояние между окопами превышает пятьсот метров, получить пулю можно только случайно. Сколько мне помнится, пятеро первых раненых, которых я увидел в Испании, были ранены собственным оружием. Я не хочу сказать, что это было сделано умышленно, — нет, они были ранены случайно или по небрежности. Серьезную опасность представляли наши изношенные винтовки. Некоторые из них имели скверную привычку стрелять, когда ударяли прикладом о землю; я видел бойца, прострелившего себе таким образом руку. В темноте свежие ополченцы всегда стреляли друг в друга. Как-то под вечер, еще до наступления сумерек, часовой пальнул в меня на расстоянии двадцати шагов, но промазал, — пуля прошла в одном метре. Сколько раз неумение испанцев стрелять метко спасло мне жизнь. В другой раз я отправился в разведку в тумане, заблаговременно предупредив об этом командира. Возвращаясь, я споткнулся о куст, испуганный часовой крикнул, что идут фашисты, и я имел удовольствие слышать, как командир приказывает открыть беглый огонь в моем направлении. Я, конечно, лег на землю и пули пролетали надо мной. Ничто не может убедить испанца, особенно молодого испанца, что огнестрельное оружие опасно. Помню, это было уже после описанных выше событий, я

---

<sup>1</sup> *Federación Anarquista Ibérica* — Федерация Анархистов Иберии. (прим. пер.)



фотографировал пулеметную команду, сидевшую за пулеметом, нацеленным прямо на меня.

— Только не стреляйте, — полушутя сказал я, наводя на них фотоаппарат.

— Нет, мы и не собираемся стрелять.

И в ту же секунду затарахтел пулемет и струя пуль пролетела возле меня так близко, что крупинки пороха обожгли щеку. Пулеметчики выстрелили случайно, но сочли это великолепной шуткой. А всего несколько дней назад они стали свидетелями того, как политрук, балуясь автоматическим пистолетом, нечаянно застрелил погонщика мулов, всадив ему в легкие пять пуль.

Определенную опасность представляли собой и грудные пароли, бывшие в то время в ходу в армиях. Нужно было помнить и пароль и отзыв. Обычно это были высокопарные революционные лозунги, вроде: *Cultura — progreso, or Seremos — invencibles*<sup>2</sup>. Неграмотные часовые часто не могли запомнить эти возвышенные слова. Однажды, паролем выбрали слово *Cataluña*, а отзывом — *Eroica*. Хаиме Доменак, крестьянский паренек с лунообразным лицом, пришел ко мне в полном недоумении и спросил, что означает слово *Eroica*.

Я объяснил, что *Eroica*, это то же самое, что *valiente*, героизм. Минуту спустя, когда он в темноте вылез из окопа, его остановил криком часовой:

— *Alto! Cataluña!*<sup>3</sup>

— *Valiente!* — гаркнул Хаиме, убежденный, что это и есть отзыв.

Бах!

Впрочем, часовой промахнулся. На этой войне, все делали все возможное, чтобы не попасть в кого-нибудь.

---

<sup>2</sup> Культура — прогресс. Будем — непобедимы. (прим. пер.)

<sup>3</sup> Стой! Каталония! (прим. пер.)

## 4

На этом участке фронта я пробыл три недели. Потом в Алькубьерре прибыло из Англии 20 или 30 человек, присланных Независимой лейбористской партией. Меня и Вильямса присоединили к ним, чтобы все англичане были вместе. Наша новая позиция находилась немного западнее прежней возле Монте Оскуро, откуда открывался вид на Сарагосу.

Наша позиция примостилась на острой, как бритва известняковой скале, в которой были вырыты ходы, напоминавшие ласточкины гнезда. Ходы шли далеко вглубь скалы, там было совершенно темно и так низко, что нельзя было даже стоять на коленях, не то что в полный рост. Влево от нас, на скалах оборудовали свои позиции еще два отряда P.O.U.M., причем одна из этих позиций привлекала особое внимание бойцов всего фронта — там кухарили три женщины. Красавицами назвать их было нельзя, но тем не менее командование сочло необходимым запретить доступ на эту позицию солдатам других укреплений. Вправо, в пятистах метрах от нас, у поворота дороги на Алькубьерре был пост, удерживаемый отрядом P.S.U.C. В этом месте проходил фронт. Ночью видны были фары грузовиков, подвозивших нам снаряжение из Алькубьерре, и фары фашистских машин, идущих из Сарагосы. Видна была и сама Сарагоса, тонкая полоска огоньков, напоминавших корабельные иллюминаторы, примерно в двадцати километрах юго-западнее нас. Правительственные войска любовались с этого места Сарагосой еще в августе 1936 года, смотрят они на нее и теперь.

Нас было около тридцати человек, включая одного испанца — Рамона, шурина Вильямса — и дюжина испанских пулеметчиков. Если не считать одного-двух исключений, — война, как известно, всегда привлекает всякую шваль, — англичане были великолепные ребята, отличались выносливостью и покладистым характером. Пожалуй, самым симпатичным из всех был Боб Смайли, внук знаменитого вождя горняков, погибший потом в Валенсии совершенно бессмысленной смертью. Англичане и испанцы, несмотря на языковую преграду, всегда хорошо уживаются вместе, что несомненно следует поставить в заслугу испанцам. Как выяснилось, испанцы знали только два английских выражения. Одно — «окей, бэби», другое же — употребляемое барселонскими проститутками в разговорах с английскими моряками — боюсь, что наборщики не напечатают.

И снова на фронте ничего не происходило: лишь иногда свистела заблудившаяся пуля, либо, очень редко, падала фашистская мина, и все бежали в траншею на верхушке горы, посмотреть где она взорвалась. Враг был здесь немного ближе к нам — метрах в трехстах-четырехстах. Его ближайшая позиция находилась как раз напротив нашей, и амбразуры неприятельских пулеметных гнезд постоянно соблазняли наших бойцов, напрасно тративших патроны. Фашисты редко утруждали себя винтовочной стрельбой, но зато посылали точные пулеметные очереди в каждого,

кто высывался. Тем не менее, лишь дней через десять, а то и больше, появился у нас первый раненый. Напротив нас стояли испанские войска, имевшие, как показывали дезертиры, несколько немецких унтеров. Здесь, видимо, были и мавры, — вот должно быть, бедняги, страдали от холода, — ибо на ничьей земле валялся труп мавра, одна из местных достопримечательностей. В полутора или трех километрах левее нашей позиции кончалась сплошная линия фронта и тянулась заросшая лесом лощина, не принадлежавшая ни фашистам, ни нам. И мы и они посылали туда дневные патрули. Это была неплохая игра — в бойскаутском духе, — хотя мне не довелось увидеть фашистский патруль ближе, чем на расстоянии нескольких сот метров. Покрыв солидное расстояние, передвигаясь ползком по-пластунски, мы пересекли фронтовую линию и добирались до места, откуда виден был крестьянский дом с развевающимся монархистским флагом. В доме размещался местный штаб фашистов. Время от времени мы выпускали по этому дому винтовочный залп и сразу же прятались, чтобы пулеметчик нас не засек. Надеюсь, что мы разбили хотя бы несколько окон, ибо штаб находился в добрых восьмистах метрах, а с нашими винтовками не было никакой уверенности, что на такой дистанции попадешь даже в дом.

Дни стояли ясные и холодные, иногда в полдень выглядывало солнце, но мороз не легчал. На склонах холмов попадались проклюнувшиеся головки диких крокусов и ирисов; близилась весна, но шла она очень медленно. Ночи были еще холоднее, чем раньше. Вернувшись на рассвете с караула, мы разгребали остатки кухонного костра и становились на жарко-красные угли. Мы жгли подметки башмаков, зато согревали ноги. Иногда по утрам в горах занимались зори такой красоты, что для этого стоило, пожалуй, вставить в немыслимую рань. Я не терплю гор, не люблю даже любоваться ими, но иногда, захваченный рассветом, поднимавшимся высоко в горах за нашей спиной, увидев первые стрелки золота, как лезвия пронизывающие темноту, а потом внезапно нахлынувший свет и моря карминных облаков, уходящих в невообразимую даль, я переставал жалеть о том, что не спал всю ночь, что ноги мои онемели и что завтрака придется ждать не менее трех часов. В течение этих месяцев я видел больше рассветов, чем за всю ранее прожитую жизнь. Этим рассветам с меня хватит до конца дней.

Нас было немного, а это значило, что нужно было дольше простаивать в карауле, а следовательно — больше утомляться. Я начал страдать от нехватки сна, неизбежной даже на самых спокойных участках фронта. Кроме караулов и патрулей были постоянные ночные тревоги и подъемы, не говоря уж о том, что нельзя как следует выспаться в окаянной земляной норе, когда ноги так и ноют от холода. За первые три-четыре месяца пребывания на фронте я около дюжины суток не спал совсем; с другой стороны, не набралось бы, пожалуй, дюжины ночей, которые я проспал бы целиком. Двадцать-тридцать часов сна в неделю были нашей нормой. Отсутствие сна сказывается не так скверно, как можно подумать, просто ходишь как ошалелый, и карабкаться по горам становится труднее. Но общее самочувствие хорошее, хотя гложущий голод не оставляет ни на минуту. Боже мой, какой голод! Всякая еда кажется вкусной, даже вечная фасоль, которую в конце концов возненавидели все, кто побывал в Испании. Воду, если мы ее получали, везли за много километров на мулах или бедных заморенных ослах. По каким-то причинам арагонский крестьянин

хорошо относится к мулам, но отвратительно к осликам. Если ослик заупрямится, его, как правило, сразу же пинают в мошонку.

Выдача свечей прекратилась, мало осталось и спичек. Испанцы научили нас мастерить лампы, используя оливковое масло, банку из-под сгущенного молока, гильзу и кусок тряпки. Когда у нас изредка заводилось оливковое масло, мы зажигали эти лампы. Они горели, непрерывно чадя и давали свет в четверть свечи; их света было достаточно только для того, чтобы найти в темноте свою винтовку.

Надежды на настоящий бой не было. Уходя с Монте Почеро, я подсчитал свои патроны и обнаружил, что в течение трех недель трижды выстрелил по врагу. Говорят, что нужно выпустить тысячу пуль, чтобы убить человека, следовательно, должно было пройти двадцать лет, прежде чем мне удастся убить первого фашиста. На Монте Оскуро враг был ближе и мы стреляли чаще, но я вполне уверен, что я ни в кого не попал. Следует сказать, что на этом участке фронта в этот период самым действенным оружием была не винтовка, а мегафон. Не имея возможности убить врага, мы на него кричали. Этот метод ведения войны настолько необычен, что нуждается в разъяснении.

Если вражеские окопы находились на достаточно близком расстоянии, начиналось перекрикивание. Мы кричали: «*Fascistas — maricones!*»<sup>1</sup> Фашисты отвечали: «*Viva España! Viva Franco!*»<sup>2</sup> Если они знали, что напротив находятся англичане, они орали: «Англичане, го хоум! Нам иностранцы не нужны!» Республиканские войска, партийные ополченцы создали целую технику «кричания», с целью разложения врага. При каждом удобном случае бойцов, обычно пулеметчиков, снабжали мегафонами и посылали пропагандировать. Им давали заранее подготовленный материал, лозунги, проникнутые революционным пафосом, которые должны были объяснить фашистским солдатам, что они наймиты мирового капитала, воюющие против своих же братьев по классу и т. д. и т. п. Фашистских солдат уговаривали перейти на нашу сторону. Эти лозунги выкрикивались без передышки: бойцы сменяли друг друга у мегафонов. Так продолжалось иногда ночи напролет. Пропаганда, несомненно, давала результаты; все соглашались с тем, что струйка дезертиров, которая текла в нашем направлении, была частично вызвана ею. И можно понять, что на продрогшего на посту часового, бывшего членом социалистических или анархистских профсоюзов, мобилизованного насильно в фашистскую армию, действовал гремевший всю ночь напролет лозунг: «Не воюйте с братьями по классу!» Такая ночь могла стать последней каплей для человека, колебавшегося — дезертировать или не дезертировать. Но такой способ ведения войны совершенно расходился с английскими понятиями. Должен признаться, что я был удивлен и шокирован, впервые познакомившись с ним. Переубеждать врага вместо того, чтобы в него стрелять? Сейчас я убежден, что со всех точек зрения это был вполне оправданный маневр. В обычной позиционной войне, не имея артиллерии, очень трудно нанести потери неприятелю, не потеряв самим примерно столько же людей. Если вы можете убедить какое-то число вражеских солдат дезертировать, тем лучше; по существу дезертиры для вас полезнее трупов, ибо они могут дать информацию. Но на первых порах мы все были обескуражены;

---

<sup>1</sup> Фашисты — трусы. (прим. пер.)

<sup>2</sup> Да здравствует Испания! Да здравствует Франко! (прим. пер.)

нам казалось, что испанцы недостаточно серьезно относятся к войне. На позиции, занимаемой справа от нас отрядом P.S.U.C. пропаганду вел истинный мастер своего дела. Иногда, вместо того, чтобы выкрикивать революционные лозунги, он начинал рассказывать фашистам, насколько нас кормят лучше, чем их. В отсутствии фантазии, при рассказе о республиканских рационах, его упрекнуть нельзя. «Гренки с маслом! — его голос отдавался раскатами эхо по всей долине. — Сейчас мы садимся есть гренки с маслом! Замечательные гренки с маслом!» Я не сомневаюсь, что как и все мы, он не видел масла недели, если не месяцы, но фашисты, услышав в ледяной ночи, крики о гренках с маслом, должно быть, пускали слюнки. Впрочем, у меня самого текли слюнки, хотя я хорошо знал, что он врет.

Однажды в феврале мы увидели приближающийся к нам фашистский самолет. Как обычно, мы вытащили на открытое место пулемет, задрали его ствол вверх и легли на спину, чтобы лучше целиться. Наша стоявшая на отшибе позиция не заслуживала в глазах врага особого внимания и, как правило, те немногие фашистские самолеты, которые появлялись здесь, облетали нас стороной, чтобы избежать пулеметного огня. На этот раз самолет прошел прямо над нами, но слишком высоко, чтобы стоило в него стрелять. Из него выпали не бомбы, а белые блестящие лепестки, закружившиеся в воздухе. Несколько листов упало на нашу позицию. Это были экземпляры фашистской газеты «*Heraldo de Aragón*»<sup>3</sup>, извещавшей о падении Малаги.

В эту ночь фашисты сделали неудачную попытку атаковать нас. Я как раз укладывался спать, полумертвый от усталости, как вдруг над нашими головами зачастил град и кто-то, просунувшись в окоп закричал: «Атакуют!» Я схватил винтовку и кинулся на свой пост, находившийся на вершине возле пулемета. Не видно было ни зги, и стоял дьявольский шум. Нас поливали огнем, должно быть, пять пулеметов, глухо рвались гранаты, по-идиотски выбрасываемы фашистами у своего же бруствера. Было совершенно темно. Внизу в долине, влево от нас, я мог различить зеленоватые вспышки винтовочных выстрелов. Это ввязался в бой какой-то фашистский патруль. В темноте вокруг нас покали пули — цок-цик-цак. Над головой просвистело несколько снарядов, упавших далеко от нас, да к тому же, (как обычно на этой войне), не разорвавшихся. Я на мгновение не на шутку испугался, когда в тылу вдруг заговорил еще один пулемет. Пулемет оказался нашим, но мне сначала почудилось, что мы окружены. Потом наш пулемет заело, как заело всегда из-за скверных патронов, а шомпол куда-то запропастился в непроницаемой темноте. Единственное что оставалось, это стоять и ждать, когда в тебя попадут. Испанские пулеметчики пренебрегают прикрытием, более того, они умышленно подставляют себя под пули, и я вынужден был поступать так же. Этот эпизод, хотя и не очень значительный, был чрезвычайно интересен. В первый раз я был, в буквальном смысле слова, под огнем. И к моему унижению, обнаружил, что я страшно испугался. Так, оказывается, чувствуешь себя всегда под сильным огнем — боишься не столько того, что в тебя попадут, сколько неизвестности **куда** попадут. Все время не перестаешь думать, куда клюнет пуля и все тело приобретает в высшей степени неприятную чувствительность.

Прошел час или два, и огонь стал затихать, а потом совсем умолк. У нас был один раненый. Фашисты выдвинули на ничейную землю несколько пулеметов, но дер-

---

<sup>3</sup> Вестник Арагона. (прим. пер.)

жались на безопасной дистанции и не сделали попытки штурмовать наш бруствер. По сути дела они не атаковали, а просто транжирили патроны и весело шумели, празднуя падение Малаги. Для меня главный урок заключался в том, что после этой истории я стал более недоверчиво относиться к военным сводкам, публикуемым в газетах. Спустя день или два газеты сообщили, что доблестные англичане отразили ураганную атаку кавалерии и танков (это по отвесным-то откосам!).

Когда фашисты известили нас о падении Малаги, мы решили, что это ложь, но на другой день пришли более достоверные слухи, а потом появилось и официальное сообщение. Постепенно стала известна вся эта позорная история — как город был отдан без единого выстрела, как ярость итальянцев обрушилась не на республиканских солдат, заранее эвакуировавшихся, а на гражданское население, как мирных жителей, пытавшихся бежать, преследовали на протяжении сотни километров, расстреливая из пулеметов. Эта новость оставила у солдат на передовой неприятный привкус, все ополченцы как один были убеждены, что падение Малаги — результат предательства. Впервые я услышал о предательстве и отсутствии единства. Впервые у меня появились глухие сомнения в отношении этой войны, в которой до сих пор так восхитительно просто было решить на чьей стороне правда.

В середине февраля мы покинули Монте Оскуро и были включены, вместе со всеми отрядами Р.О.У.М., стоявшими на этом участке, в армию, осаждавшую Хуэску. Грузовик вез нас километров восемьдесят по студеной равнине, вдоль подстриженных виноградников и едва проклюнувшихся ростков озимого ячменя. В четырех километрах от наших новых окопов виднелась Хуэска, маленькая и светлая, как кукольный городок. Много месяцев назад, после взятия Сиетамо, генерал, командовавший республиканскими войсками, весело заявил: «Завтра мы пьем кофе в Хуэске». Он, оказывается, ошибся. Было несколько кровопролитных атак, но взять город не удалось. «Завтра мы будем пить кофе в Хуэске» стало в армии ходячей остротой. Если когда-нибудь мне вновь придется побывать в Испании, я во что бы то ни стало выпью чашку кофе в Хуэске.

## 5

До последних чисел марта на восточном участке фронта под Хуэской ничего не происходило, почти ровным счетом ничего. Мы находились в тысяче двухстах метрах от врага. Когда фашисты были отбиты и закрепились в Хуэске, республиканская армия не проявила особого рвения в погоне за врагом, и линия фронта в этом месте выгнулась подковой. Позднее, при переходе в наступление, пришлось выпрямлять фронт — задача не из легких под огнем противника, — но в настоящее время врага, как будто, вовсе не существовало. Нас занимало лишь одно — как согреться и раздобыть чего-нибудь поесть. Это не значит, однако, что у меня не было живого интереса и к целому ряду других вещей, но об этом я напишу позднее. Пока же я буду держаться ближе хронологии и попытаюсь дать представление о внутривнутриполитическом положении на республиканской стороне.

Вначале я пренебрегал политической стороной войны, и только в описываемый период политика начала привлекать мое внимание. Если вас не интересуют ужасы партийной политики, прошу пропустить эти страницы. Я выделяю политическую часть моего повествования в особые главы именно с этой целью. В то же время невозможно писать об испанской войне с чисто военной точки зрения, — это была прежде всего война политическая. Ни одно событие, особенно в первый год, не может быть понято, если вы не разбираетесь в какой-то мере в том, что представляла собой внутривнутрипартийная борьба, которая велась в рядах республиканцев за линией фронта.

Приехав в Испанию, я первое время не только не интересовался политикой, но даже и не подозревал о ее существовании. Я знал, что идет война, но не имел никакого представления о характере этой войны. Если бы меня спросили, почему я пошел в ополчение, я ответил бы: «Сражаться против фашизма». А на вопрос, за что я сражаюсь, я ответил бы: «За всеобщую порядочность». Я принял определение, данное этой войне журналами «Ньюс-Кроникл» — «Нью стейтсмен»: защита цивилизации от вспышки безумия среди армии полковников Блимпов<sup>1</sup>, оплачиваемых Гитлером. Меня глубоко взволновала революционная атмосфера Барселоны, но я не сделал попытки понять ее. Что касается калейдоскопа политических партий и профсоюзов с их нудными названиями P.S.U.C., P.O.U.M., F.A.I., C.N.T., U.G.T., J.C.I., J.S.U., AIT. — то они просто меня раздражали. С первого взгляда казалось, что Испания страдает эпидемией сокращений. Я знал, что я служу в чем-то, носящем название P.O.U.M., (я вступил в ополчение P.O.U.M., а не в другое лишь потому, что прибыл в Барселону с направлением от I.L.P.), но мне и в голову не приходило, что между партиями имеются существенные различия. Когда на Монте Почеро мне сказали, что слева позицию держат социалисты (имея в виду P.S.U.C.), я был удивлен и спросил: «А разве мы не социалисты?» Мне казалось идиотизмом, что народ, борющийся за свою жизнь

---

<sup>1</sup> Полковник Блимп — нарицательный образ английского консерватора. (прим. пер.)

делится на партии. Я стоял на простой точке зрения: «Отбросим всю эту партийную чепуху и займемся войной». Это было то правильное «антифашистское» отношение, хитро пропагандируемое английскими газетами, главным образом для того, чтобы помешать читателям понять подлинную сущность борьбы. Но такое отношение нельзя было сохранить в Испании, особенно в Каталонии. Хотелось ему того или нет, каждый, рано или поздно, выбирал себе партию. Человека могли не интересоваться партии и их «линии», но всякому было совершенно очевидно, что речь шла о его собственной судьбе. Служа в ополчении, вы были солдатом антифашистской армии, но одновременно пешкой в гигантской схватке, которую вели между собой два политических направления. Когда я ползал в поисках хвороста по склонам гор, размышляя, война ли это или просто выдумка «Ньюс кроникл», когда я прятался от пулеметного огня коммунистов во время барселонского мятежа, когда, наконец, я бежал из Испании, преследуемый по пятам полицией, — все это происходило со мной потому, что я служил в ополчении P.O.U.M., а не в P.S.U.C. Оказалось, что разница между этими двумя сокращениями очень велика!

Чтобы понять, как произошло размежевание сил в рядах республиканцев, следует вспомнить, с чего все началось. Можно полагать, что 18 июля, в день начала боев, все антифашисты Европы вздохнули с надеждой. Наконец-то нашлось демократическое правительство, вступившее в схватку с фашизмом. На протяжении многих лет так называемые демократические страны уступали фашистам на каждом шагу. Японцам разрешили хозяйничать, как им заблагорассудится, в Маньчжурии, Гитлер пришел к власти и приступил к резне своих политических противников всех мастей и оттенков; Муссолини сбрасывал грузы бомб на абиссинцев, в то время как пятьдесят три нации (надеюсь, я не ошибся в числе) благочестиво причитали: «Руки прочь!». Но когда Франко сделал попытку свергнуть умеренно-левое правительство, испанский народ, неожиданно для всех, дал ему отпор. Казалось, что наступил поворотный пункт (не исключена возможность, что так оно и было на самом деле). Но были факты, ускользнувшие от внимания общественности. Во-первых, Франко нельзя было полностью отождествлять с Гитлером или Муссолини. Его восстание было военным мятежом, поддержанным аристократией и церковью. Целью мятежа, особенно на первых порах, было не столько установление фашизма, как восстановление феодализма. В результате, против Франко выступил не только рабочий класс, но и различные слои либеральной буржуазии, те самые круги, которые поддерживают фашизм, если он выступает в более современной форме. Еще большее значение имел тот факт, что испанский рабочий класс выступил не в защиту «демократии» и статуса кво, как это мог бы сделать, скажем, рабочий класс Англии; сопротивление испанских рабочих сопровождалось, — можно даже сказать, было, — подлинным революционным взрывом. Крестьяне захватили землю; многие заводы и почти весь транспорт перешли в руки профсоюзов, церкви были разрушены, а священники изгнаны или убиты. Газета «Дейли мейл», под приветственные крики католического духовенства, представила Франко как патриота, освобождающего страну от диких орд «красных».

В первые месяцы войны действительным противником Франко было не столько правительство, сколько профсоюзы. Как только вспыхнул мятеж, организованные городские рабочие ответили на него всеобщей забастовкой, потребовали оружие из



правительственных арсеналов, и в результате борьбы, получили его. Если бы они не выступили стихийно и более или менее независимо, вполне возможно, что Франко не встретил бы сопротивления. Этого нельзя утверждать с полной уверенностью, но есть основания допускать такую возможность. Правительство не сделало ничего, или почти ничего, чтобы предотвратить мятеж, о подготовке которого было давно известно. А когда мятеж вспыхнул, правительство показало себя таким слабым и неуверенным, что в течение одного дня Испания переменяла трех премьеров<sup>2</sup>. Единственный шаг, который мог спасти положение — раздача оружия рабочим — был сделан неохотно и под давлением народных масс. Но в конечном итоге оружие было роздано и в больших городах восточной Испании фашисты были разбиты усилиями прежде всего рабочего класса, при поддержке ряда воинских частей, сохранивших верность правительству (жандармерия и т. д.). На такие усилия способен, мне думается, лишь народ, поднявшийся на революционную борьбу, то есть верящий, что он сражается за нечто большее, чем просто сохранение статуса кво. В уличных боях в течение одного единственного дня погибло три тысячи человек. Мужчины и женщины, вооруженные одними динамитными шашками, бежали через площади городов на штурм зданий, в которых засели отлично обученные солдаты с пулеметами. Такси, мчавшиеся со скоростью 100 километров в час, с ходу давили пулеметные гнезда, устроенные фашистами в стратегически важных пунктах. Даже не зная ничего о захвате земли крестьянами и о создании местных советов, трудно было поверить, что анархисты и социалисты, эта опора сопротивления, могли видеть цель своей борьбы в сохранении капиталистической демократии, которая — особенно с точки зрения анархистов — была не более чем централизованной машиной обмана масс.

А тем временем рабочие получали оружие и на данном этапе не собирались выпускать его из рук. (Год спустя было подсчитано, что каталонские анархо-синдикалисты все еще имеют 30 тысяч винтовок). Во многих местах владения профашистских помещиков были захвачены крестьянами. Наряду с коллективизацией промышленности и транспорта, делались попытки образовать зачаточные органы рабочей власти — создавались местные комитеты, рабочие патрули сменяли старую буржуазную полицию, профсоюзы формировали отряды рабочего ополчения. Конечно, этот процесс не всюду шел одинаково, — в Каталонии он продвинулся дальше, чем в других районах страны. Были районы, где местные органы власти оставались почти без изменений, в других же местах они уживались бок о бок с революционными комитетами. Кое-где были созданы независимые анархистские коммуны. Некоторые из них продержались около года, а затем были разогнаны правительством. В Каталонии, первые несколько месяцев власть находилась почти целиком в руках анархо-синдикалистов, контролировавших большую часть основных отраслей промышленности. Таким образом, то, что произошло в Испании, было не просто вспышкой гражданской войны, а началом революции. Именно этот факт антифашистская печать за пределами Испании старалась затушевать любой ценой. Положение в Испании изображалось как борьба «фашизма против демократии», революционный характер испанских событий тщательно скрывался. В Англии, где пресса более централизована, а обще-

---

<sup>2</sup> Кирога, Барриос и Хираль (*Quiroga, Barrios, and Giral*). Первые два отказались выдать оружие профсоюзам.

ственное мнение обмануть легче чем где бы то ни было, в ходу были лишь две версии испанской войны: распространяемая правыми — о борьбе христианских патриотов с кровожадными большевиками, и левая версия — о джентльменах-республиканцах, подавляющих военный мятеж. Суть событий удалось скрыть.

Чем это было вызвано? Начнем с того, что профашистская печать распространяла бессовестную ложь о зверствах республиканцев, и благонамеренные пропагандисты, отрицая, что Испания «стала красной», несомненно хотели тем самым помочь правительству. Но основной повод был иным. Если не считать маленьких революционных групп, существующих во всех странах, мир был полон решимости предотвратить революцию в Испании. В частности, Коммунистическая партия, при поддержке Советской России, делала все, чтобы предотвратить революции. Коммунисты утверждали, что на этом этапе революция окажется губительной и что стремиться следует не к переходу власти в руки рабочих, а к буржуазной демократии. Нет необходимости уточнять, почему «либералы» в капиталистических странах заняли сходную позицию. Иностранное капиталовложение играли в испанской экономике очень важную роль. Например, в Барселонскую транспортную компанию было инвестировано десять миллионов английских фунтов, а тем временем профсоюзы реквизируют весь транспорт в Каталонии. Если бы революция пошла дальше, не было бы никакой компенсации убытков или она составила бы ничтожные суммы. Победа капиталистической республики означала бы спасение иностранных капиталов. Поскольку революцию нужно было задуть, удобнее всего было притвориться, что никакой революции вовсе нет. Это давало возможность без труда прикрывать истинную суть любого события; любой акт передачи власти профсоюзам в руки центрального правительства можно было представить как необходимую меру, вызванную военной реорганизацией. Таким образом создавалось крайне любопытное положение. Вне Испании лишь очень немногие осознали, что в стране происходила революция; в самой Испании в этом никто не сомневался. Даже газеты P.S.U.C., контролируемые коммунистами и проводившие более или менее антиреволюционную линию, писали о «нашей славной революции». А тем временем коммунистическая печать за границей трубила, что в Испании нет ни малейших признаков революции, что захвата рабочими заводов, создания рабочих комитетов и т. д. не было, а если даже они имели место, то не следует «придавать им политического значения». Газета «Дейли уоркер» от 6 августа 1936 г. заявляла, что только «гнусные лжецы» могут утверждать, будто испанский народ борется не за буржуазную демократию, а за социальную революцию. А с другой стороны член валенсийского правительства Хуан Лопез заявил в 1937 году, что «испанский народ проливает свою кровь не за демократическую республику и ее бумажную конституцию, а за... революцию». Оказывалось таким образом, что «гнусные лжецы» были и в составе правительства, за которое нам предлагали драться. Некоторые зарубежные антифашистские газеты опускались даже до такого жалкого обмана, что утверждали, будто разорялись только те церкви, которые фашисты использовали в качестве своих укрепленных пунктов. В действительности же разгром церквей носил повсеместный характер и был явлением само собой разумеющимся, ибо для испанцев церковь была частью капиталистической шайки. За шесть месяцев моего пребывания в Испании я видел только две неповрежденные

церкви, а примерно до июля 1937 года нигде не отправлялась служба, если не считать одной или двух протестантских церквей в Мадриде.

Впрочем это было только начало революции, а не завершение ее. Даже там, где рабочие могли свергнуть правительство или полностью принять на себя его функции (безусловно в Каталонии, а возможно и в других районах), они этого не делали. Совершенно очевидно, что они не могли этого сделать, когда Франко стоял у самого порога, а часть средней прослойки населения была на его стороне. Страна находилась в переходном состоянии и могла либо взять курс на социализм, либо вернуться в положение обыкновенной капиталистической республики. Крестьяне завладели большей частью земли и собирались удержать ее, если, конечно, не победит Франко; все основные промышленные предприятия были обобществлены, но сохранение этого положения или восстановление капиталистической системы, зависело в конечном итоге от того, какая группа одержит верх. На первых порах и центральное правительство и полуавтономное каталонское правительство представляли — это можно сказать с полной уверенностью — рабочий класс. В правительство, возглавляемое левым социалистом Кабальеро, входили министры, представлявшие U.G.T. (социалистические профсоюзы) и C.N.T. (синдикалистские профсоюзы, контролируемые анархистами). Каталонское правительство было на какое-то время совершенно вытеснено Антифашистским Комитетом обороны<sup>3</sup>, состоявшим главным образом из представителей профсоюзов. Позднее Комитет обороны был распущен, а каталонское правительство реорганизовано, и в состав его были включены представители профсоюзов и различных левых партий. Но каждая последующая перетасовка правительства была шагом вправо. Сначала из него изгнали P.O.U.M.; шесть месяцев спустя Кабальеро заменили правым социалистом Негрином; вскоре из центрального правительства был исключен C.N.T., потом U.G.T.; после этого C.N.T. был устранен также из каталонского правительства. Наконец, через год после начала войны и революции, правительство состояло уже только из правых социалистов, либералов и коммунистов.

Общий сдвиг вправо наметился в октябре-ноябре 1936 года, когда СССР начал поставлять правительству оружие, а власть стала переходить от анархистов к коммунистам. Ни одно государство, кроме России и Мексики, не сочло нужным прийти на помощь правительству Испании; Мексика, по понятным причинам, не могла поставлять оружие в большом количестве. В результате, русские имели возможность диктовать свои условия. Нет никакого сомнения, что смысл этих условий был таков: «Предотвратите революцию, или не получите оружия». Не приходится сомневаться и в том, что первый шаг, направленный против революционных элементов — изгнание P.O.U.M. из каталонского правительства, был сделан по приказу СССР. Отрицают, что советское правительство осуществляло прямой нажим, но это не имеет большого значения, ибо известно, что коммунистические партии во всех странах проводят советскую политику, а никто не отрицал того факта, что именно коммунистическая партия была главным вдохновителем борьбы сначала с P.O.U.M., потом с

---

<sup>3</sup> *Comité Central de Milicias Antifascistas* (Центральный комитет антифашистских ополчений). Делегаты избирались в соответствии с численностью организации. Девять делегатов представляли профсоюзы, три — каталонскую либеральную партию, два — различные марксистские партии (P.O.U.M. коммунистов и др.).

анархистами и тем крылом социалистов, которое возглавлял Кабальеро, то есть с революционной политикой в целом. Как только СССР включился в войну, триумф коммунистической партии был обеспечен. Во-первых, признательность России за поставку оружия и тот факт, что коммунистическая партия, особенно после прибытия интернациональных бригад, казалась способной выиграть войну, необычайно повысили авторитет коммунистов. Во-вторых, советское оружие распределялось через коммунистическую и союзные с ней партии. Коммунисты следили за тем, чтобы как можно меньше этого оружия попадало в руки их политических противников<sup>4</sup>. В-третьих, провозгласив нереволюционную программу, коммунисты смогли привлечь на свою сторону всех, кого пугали экстремисты. Было легко, например, поднять крестьян побогаче против политики коллективизации, проводимой анархистами, Число членов коммунистической партии неимоверно возросло, но прежде всего — за счет выходцев из средних слоев — лавочников, чиновников, офицеров, зажиточных крестьян и т. д. Война по существу велась на два фронта. Борьба с Франко продолжалась, но одновременно правительство преследовало и другую цель — вырвать у профсоюзов всю захваченную ими власть. Достигалась эта цель с помощью малозаметных маневров (кто-то назвал эту политику политикой булавочных уколов), — и в целом очень хитро. Явно контрреволюционные мероприятия не проводились, и до мая 1937 года почти не было необходимости прибегать к силе. Рабочих очень легко было принудить к послушанию с помощью пожалуй даже слишком очевидного аргумента: «Если вы не сделаете того-то и того-то, мы проиграем войну». Само собой разумеется, что от рабочих неизменно во имя высших военных соображений требовали отказаться от того, что они завоевали в 1936 году. Но этот аргумент всегда действовал безотказно, ибо революционные партии меньше всего хотели проиграть войну; в случае поражения — демократия и революция, социализм и анархия становились ничего не значащими словами. Анархисты, единственная революционная партия, достаточно крупная, чтобы заставить с собой считаться, вынуждена была уступать шаг за шагом. Процесс обобществления был приостановлен, местные комитеты распущены, рабочие патрули расформированы (их место заняла довоенная полиция, значительно усиленная и хорошо вооруженная). Крупные промышленные предприятия, находившиеся под контролем профсоюзов, перешли в ведение правительства (захват барселонской телефонной станции, повлекший за собой майские бои, был одним из эпизодов этого процесса); наконец, и это самое главное, отряды рабочего ополчения, сформированные профсоюзами, постепенно расформировывались и вливались в народную армию, «неполитическую» армию полубуржуазного типа, с дифференцированным жалованием, привилегированной офицерской каздой и т. д. и т. п. В тогдашних обстоятельствах это был главный, решающий шаг. В Каталонии ликвидация ополчения произошла позже, чем в других областях, ибо революционные партии были здесь особенно сильны. Совершенно очевидно, что рабочие могли сохранить свои завоевания только в том случае, если бы им удалось удержать под собственным контролем часть вооруженных сил. Как обычно, расфор-

---

<sup>4</sup> Именно поэтому на Арагонском фронте, где стояли преимущественно анархистские части, было так мало советского оружия. До апреля 1937 года единственным таким оружием, попавшим мне на глаза, — если не считать самолетов, которые, возможно, были советского производства, а может и нет, — был один единственный автомат.

мирование ополчения производилось во имя повышения боеспособности; никто не спорит, что коренная военная реорганизация была необходима. Однако, вполне можно было реорганизовать ополчение и повысить его боеспособность, оставив отряды под прямым контролем профсоюзов. Главная цель этой меры была иной — лишить анархистов собственных вооруженных сил. К тому же, демократический дух, свойственный рабочему ополчению, породил революционные идеи. Коммунисты великолепно отдавали себе в этом отчет и поэтому не прекращали ожесточенной борьбы с принципом равного жалования всем бойцам, независимо от звания, проповедуемым Р.О.У.М. и анархистами. Происходило всеобщее «обуржуазивание», умышленное уничтожение духа всеобщего равенства, царившего в первые месяцы революции. Все происходило так быстро, что люди, приезжавшие в Испанию после нескольких месяцев отсутствия, заявляли, что они не узнают страны. То, что беглому, поверхностному взгляду представлялось рабочим государством, превращалось на глазах в обыкновенную буржуазную республику с нормальным делением на богатых и бедных. Осенью 1937 года «социалист» Негрин публично заявил «мы уважаем частную собственность», а те депутаты кортесов<sup>5</sup>, которые бежали в начале войны из Испании, опасаясь преследований за профашистские взгляды, стали возвращаться на родину.

Весь этот процесс становится понятнее, если вспомнить, что он является следствием временного союза, который заключают между собой рабочие и буржуазия, видящие опасность со стороны фашизма в некоторых его проявлениях. Этот союз, известный под именем Народного фронта, по сути своей — союз врагов. Представляется неизбежным, что в результате один партнер всегда проглатывает другого. Единственной неожиданной особенностью испанской ситуации, вызвавшей массу недоразумений за пределами страны, было то, что коммунисты занимали в рядах правительства место не на крайне левом, а на крайне правом фланге. В действительности ничего удивительного в этом не было, ибо тактика коммунистических партий в других странах, прежде всего во Франции, со всей очевидностью показала, что официальный коммунизм следует рассматривать, во всяком случае в данный момент, как антиреволюционную силу. Политика Коминтерна в настоящее время полностью подчинена (учитывая международное положение, это простительно) обороне СССР, зависящей от системы военных союзов. В частности, СССР заключил союз с капиталистическо-империалистической Францией. Этот союз потеряет всякий смысл для СССР, если французский капитализм ослабеет, из чего и следует, что коммунистическая политика во Франции должна быть контрреволюционной. Это значит, что французские коммунисты не только идут сейчас под трехцветным знаменем и поют «Марсельезу», — значительно важнее, что они отказались от ведения эффективной агитации во французских колониях. Менее трех лет назад секретарь французской ком-партии Торез заявил<sup>6</sup>, что французских рабочих никогда не заставят воевать против их германских товарищей. Сейчас он один из наиболее громогласных патриотов во всей Франции. Ключ к линии коммунистической партии любой страны — военные связи — настоящие или потенциальные — этой страны с

---

<sup>5</sup> Кортесы — однопалатный парламент Испании (*прим. ред.*).

<sup>6</sup> В палате Депутатов, март 1835 год.

Советским Союзом. Позиция Англии, например, пока неясна и поэтому английская коммунистическая партия все еще относится к правительству враждебно и подчеркнуто выступает против перевооружения. Если же Великобритания вступит в союз или подпишет военный договор с СССР, английские коммунисты, наподобие французским, волей-неволей превратятся в хороших патриотов и империалистов; первые признаки уже налицо. Коммунистическая «линия» в Испании совершенно очевидно зависела от того факта, что Франция, союзница России, не хотела иметь в лице Испании революционного соседа и сделала бы все возможное, чтобы предотвратить освобождение Испанского Марокко. «Дейли мейл», распространявшая рассказы о красной революции, финансируемой Москвой, была еще дальше от истины, чем обычно. В действительности, именно коммунисты, в первую очередь, предотвратили революцию в Испании. Позднее, когда контроль перешел полностью в руки правых, коммунисты показали, что они готовы идти значительно дальше чем либералы, в охоте на революционных лидеров<sup>7</sup>.

Я попытался изобразить общий ход испанской революции в первый ее год, ибо это помогает понять положение сейчас. Но я не хочу этим сказать, что в феврале положение рисовалось мне именно таким, каким я его изобразил выше. Прежде всего, тогда еще не произошли те события, которые помогли мне в решающей мере осознать положение, и кроме того мои тогдашние симпатии несколько отличались от нынешних. Частично это объяснялось тем, что политическая сторона войны нагоняла на меня скуку, и я, естественно, спорил со взглядами, которые слышал особенно часто — со взглядами P.O.U.M. и I.L.P. Большинство англичан в нашем отряде были членами I.L.P., (было также несколько коммунистов) и они, как правило, значительно лучше меня разбирались в политических вопросах. На протяжении долгих недель, в скучный период, когда в районе Хуэски ничего не происходило, я участвовал в бесконечной политической дискуссии. Представители разных направлений не прекращали споров в пронизываемых сквозняком, скверно пахнущих амбарах, в душной темноте окопов, за бруствером морозной ночью. То же самое было и среди испанцев, и большинство газет отводили внутрипартийной борьбе самое видное место. Нужно было быть глухим или полным тупицей, чтобы не составить кое-какое представление об основных идеях каждой из партий.

С точки зрения политической теории значение имели лишь три партии — P.S.U.C., P.O.U.M. и C.N.T. — F.A.I., для простоты называемые анархистами. Я начну с P.S.U.C. поскольку это самая крупная партия, одержавшая в конечном итоге победу. Уже в то время P.S.U.C. заметно шла в гору.

Замечу, что когда говорят о «линии» P.S.U.C. имеют в виду «линию» коммунистической партии. P.S.U.C. (*Partido Socialista Unificado de Cataluña*) — Социалистическая партия Каталонии; она была создана в начале войны в результате слияния различных марксистских партий, в том числе Каталонской коммунистической партии, но в описываемое время она находилась целиком под контролем коммунистов и была членом III Интернационала. В Испании не было больше подобных примеров офи-

---

<sup>7</sup> Лучше всего борьба в рядах правительственной коалиции изображена в книге Франца Боркенау «Испанская арена» (*Franz Borkenau «The Spanish Cockpit»*). Это наиболее убедительная книга об испанской войне, из всех вышедших до сих пор.

циального союза между социалистами и коммунистами, но позиции коммунистов и правых социалистов можно считать полностью тождественными. Не вдаваясь в подробности можно сказать, что P.S.U.C. был политическим органом U.G.T. (*Unión General de Trabajadores*), то есть социалистических профсоюзов. Они насчитывали по всей стране примерно полтора миллиона человек. В состав U.G.T. входило много секций рабочих и ремесленников, но с началом войны в него хлынул поток представителей средних классов: в первые «революционные» дни многие сочли полезным стать членом U.G.T. или C.N.T. Эти два профсоюзных объединения были, по существу, смежными организациями, но C.N.T. имела более четко выраженный рабочий характер. Таким образом P.S.U.C. была частично партией рабочих и в то же время партией мелкой буржуазии — лавочников, служащих, зажиточных крестьян.

Программу P.S.U.C., о которой писала коммунистическая и прокоммунистическая печать во всем мире, можно примерно сформулировать следующим образом: «В настоящее время единственная важная цель это победа. Без победы в войне все теряет свой смысл, а поэтому теперь не время говорить о расширении революции. Мы не можем допустить отчуждения крестьян, навязывая им насильственную коллективизацию, и мы не можем себе также позволить отпугнуть средние классы, сражающиеся вместе с нами. Прежде всего необходимо положить конец революционному хаосу. Мы должны иметь сильное центральное правительство, а не местные комитеты, а также хорошо обученную регулярную армию под объединенным командованием. Цепляние за остатки рабочего контроля и бессмысленное повторение революционных фраз не только бесполезно, не только мешает революции, но помогает контрреволюции, ибо раскалывает наши ряды, а этот раскол может быть на руку фашистам. На нынешнем этапе мы боремся не за диктатуру пролетариата, мы боремся за парламентскую демократию. Тот, кто пытается превратить гражданскую войну в социалистическую революцию, помогает фашистам и, если не умышленно, то объективно является предателем».

«Линия» P.O.U.M. расходилась с этой политикой по всем пунктам, кроме, конечно, пункта о необходимости одержать победу. P.O.U.M. (*Partido Obrero de Unificación Marxista*) была одной из тех раскольнических коммунистических партий, которые появились в последнее время во многих странах, как оппозиция «сталинизму», то есть действительному или мнимому изменению курса коммунистической политики. P.O.U.M. состояла из бывших коммунистов и членов бывшего Рабоче-Крестьянского блока. В численном отношении это была небольшая партия<sup>8</sup>, не имевшая существенного влияния за пределами Каталонии, и была сильна исключительно большим числом политически сознательных членов в ее рядах. Главным оплотом P.O.U.M. в Каталонии была Лерида. Партия не выражала взглядов ни одного из профсоюзных блоков. Бойцы ополчения P.O.U.M. были в своем большинстве членами C.N.T., но те из их числа, что состояли в партии, входили, как правило, в состав U.G.T. Но влияние P.O.U.M. имела только в C.N.T. Линия P.O.U.M. выглядела примерно так:

---

<sup>8</sup> P.O.U.M. насчитывала: в июле 1936 г. — 10.000 членов, в декабре 1936 г. — 70.000, в июне 1937 г. — 40.000. Но это официальные цифры из источников P.O.U.M., враждебные партии круги сократили бы эти цифры, я думаю, раза в четыре. Единственное, что можно с уверенностью сказать о численности испанских партий, это то, что каждая партия дает завышенную оценку числа своих членов.

«Бессмысленно говорить о том, что буржуазная «демократия» выступает против фашизма. Буржуазная «демократия» — не больше, чем еще одно из названий капитализма; то же самое можно сказать и о фашизме. Борьба с фашизмом во имя «демократии» это значит бороться с одной формой капитализма во имя другой, которая в любую минуту может превратиться в первую. Единственная реальная альтернатива фашизму — рабочий контроль. Поставить себе более ограниченную цель, значит либо отдать победу Франко, либо впустить фашизм черным ходом. В настоящее время рабочие должны зубами держаться за все, что им удалось вырвать силой; если они пойдут на малейшие уступки полубуржуазному правительству, их наверняка обманут. Необходимо сохранить в нынешней форме рабочее ополчение и полицию, всеми силами препятствуя их «обуржуазиванию». Если рабочие не возьмут под свой контроль вооруженные силы, вооруженные силы установят контроль над рабочими. Война и революция неотделимы».

Программу анархистов изложить труднее. «Анархистами» называли великое множество людей, высказывающих самые различные и противоречивые взгляды. Политическим органом объединения профсоюзов С.Н.Т. (*Confederación Nacional de Trabajadores*), насчитывавшего около двух миллионов человек, была Ф.А.И. (*Federación Anarquista Ibérica*), подлинная анархистская организация. Но даже члены Ф.А.И., хотя и имели, как, впрочем, большинство испанцев некоторую анархистскую окраску, не были анархистами в подлинном смысле этого слова. После начала войны они сделали шаг в сторону обычного социализма, ибо обстоятельства принудили их принять участие в деятельности центральных административных органов и даже, в нарушение всех своих принципов, войти в состав правительства. Тем не менее они коренным образом отличались от коммунистов, прежде всего в том, что как и Р.О.У.М., стремились к рабочей власти, а не к парламентской демократии. Анархисты усвоили лозунг Р.О.У.М. «Война и революция неотделимы!», но относились к нему менее догматично. В общих чертах, С.Н.Т. — Ф.А.И. выступали за следующую программу: 1. Рабочие каждой отрасли промышленности т. е. транспорт, текстильные предприятия и т. д. осуществляют прямой контроль над производством; 2. Власть в руках местных комитетов и сопротивление всем формам централизованного авторитаризма; 3. Непримируемая вражда по отношению к буржуазии и церкви. Последний пункт, хотя и наименее четко сформулированный, был самым важным. Анархисты отличались от большинства так называемых революционеров тем, что, проповедуя довольно расплывчатые принципы, они по-настоящему ненавидели привилегии и несправедливость. В идеологическом отношении, коммунизм и анархизм прямо противоположны. На практике же, то есть во всем что касается наиболее желательной формы устройства общества, различие, в основном, заключается в том, на что каждая из этих идеологий делает основной нажим, но и эти разногласия непримиримы. Коммунисты делают упор на централизм и оперативность, анархисты — на свободу и равенство. Анархизм имеет в Испании глубокие корни и вероятно переживет коммунизм, когда исчезнет советское влияние. В первые два месяца войны именно анархисты, больше чем кто-либо другой, спасли положение, а гораздо позднее анархистское ополчение, несмотря на свою недисциплинированность, считалось самым боевым среди частей, состоящих исключительно из испанцев. Начиная примерно с 1937 года анархисты и Р.О.У.М. в какой-то мере действовали вместе. Если



бы анархисты, Р.О.У.М. и левые социалисты действовали совместными силами с самого начала войны и проводили бы реалистическую политику, исход войны был бы, возможно, иным. Но в первый период, когда каждой из революционных партий, казалось, что в её руках все козыри, объединить силы было невозможно. Старинная зависть была причиной раздора между анархистами и социалистами, Р.О.У.М., как партия марксистская, скептически относилась к анархистам, а с чисто анархистской точки зрения, «троцкизм» Р.О.У.М. был ничем не лучше «сталинизма» коммунистов. И тем не менее, коммунистическая тактика была направлена на сближение этих двух партий. Р.О.У.М. ввязался в злосчастные майские бои в Барселоне, инстинктивно приняв сторону С.Н.Т., а позднее, когда Р.О.У.М. был запрещен, только анархисты осмелились выступить в его защиту.

Итак, расстановка сил, в общих чертах выглядела следующим образом... С одной стороны С.Н.Т. — Ф.А.И., Р.О.У.М. и фракция социалистов — сторонников рабочего контроля; с другой — правые социалисты, либералы и коммунисты — сторонники централизованного правительства и регулярной армии.

Легко понять, почему в то время политика коммунистов казалась мне предпочтительнее направления Р.О.У.М. У коммунистов была четкая практическая программа, больше всего отвечавшая доводам здравого смысла (правда, если заглядывать всего на несколько месяцев вперед). Повседневная же политика Р.О.У.М., их пропаганда и все прочее было поставлено из рук вон плохо; если бы дела в Р.О.У.М. обстояли лучше, они смогли бы привлечь больше последователей. Главным, однако, было то, что коммунисты — так мне казалось — действительно ведут войну, в то время как мы и анархисты топчемся на месте. В то время так думали все. Коммунисты пришли к власти и привлекли массы людей, отчасти потому, что средние прослойки населения поддерживали их антиреволюционную политику, но частично и потому, что коммунисты представлялись единственной силой, способной выиграть войну. Советское оружие и отважная оборона Мадрида частями, которыми командовали главным образом коммунисты, превратили их в героев в глазах всей Испании. Кто-то сказал, что каждый советский самолет, пролетающий над нашими головами, служил делу коммунистической пропаганды. Революционный туризм Р.О.У.М. казался мне тщетным, хотя я и признавал его логичность. Ведь в конечном итоге важно было лишь одно — выиграть войну.

Тем временем дьявольская межпартийная грызня шла на страницах газет, памфлетов, книг, на плакатах, одним словом — повсюду. Я чаще всего читал тогда газеты Р.О.У.М. «*La Batalla*» и «*Adelante*»<sup>9</sup>, содержащие бесконечные нападки на «контрреволюционеров» из Р.С.У.С. казавшиеся мне самодовольными и нудными. Позднее, лучше познакомившись с прессой Р.С.У.С., и коммунистов, я понял, что Р.О.У.М. вполне безобидна по сравнению со своими противниками, не говоря уже о том, что у Р.О.У.М. было значительно меньше возможностей. В отличие от коммунистов Р.О.У.М. не имела дружественной прессы за рубежами страны. В самой Испании, поскольку цензура была преимущественно в руках коммунистов, газеты Р.О.У.М. запрещались или штрафовались, если они публиковали неудобные коммунистам материалы. Следует признать, что газеты Р.О.У.М., хотя и были полны славословий в

---

<sup>9</sup> Бой. Вперед. (прим. пер.)

честь революции и цитат из Ленина, повторяемых до тошноты, обычно не опускались до личной клеветы. К тому же они вели полемику только на страницах газет. Их большие красочные плакаты (в Испании, где много неграмотных, плакаты имеют большое значение) не содержали нападок на соперничающие партии, а призывали к борьбе с фашизмом или же носили отвлеченно революционный характер. Такими были и песни, распеваемые ополченцами. Коммунисты вели себя совершенно иначе. Подробнее я остановлюсь на этом позднее, здесь же ограничусь лишь кратким описанием того, как вели свои атаки коммунисты.

На первый взгляд казалось, что коммунисты и Р.О.У.М. расходятся только в вопросах тактики: партия Р.О.У.М. выступала за немедленную революцию, а коммунисты — против. Пока все ясно: можно привести доводы в поддержку как одной, так и другой точки зрения. Далее, коммунисты утверждали, что пропаганда Р.О.У.М. раскалывает и ослабляет правительственные силы, подвергая опасности исход войны. И снова, хотя меня этот аргумент в конечном итоге не убеждает, можно сказать, что доля истины в нем есть. Но здесь раскрывается отличительная черта коммунистической тактики. Сначала потихоньку, а потом все более громко коммунисты стали заявлять, что Р.О.У.М. вносит раскол в ряды республиканцев не по ошибке, а умышленно. Р.О.У.М. был объявлен шайкой замаскированных фашистов, наймитов Франко и Гитлера, сторонниками псевдореволюционной политики, которая наруку фашистам. По словам коммунистов, Р.О.У.М. была «троцкистской» организацией, «франкистской пятой колонной». А это значило, что десятки тысяч рабочих, в том числе восемь или десять тысяч бойцов, мерзших в окопах, и сотни иностранцев, пришедших в Испанию сражаться с фашизмом, зачастую жертвуя налаженным бытом и правом вернуться на родину, оказались предателями, наемниками врага. Эти слухи распространялись по всей Испании с помощью плакатов и других средств агитации, снова и снова повторялись коммунистической и прокоммунистической печатью во всем мире. Если бы я занялся коллекционированием цитат, я мог бы заполнить ими полдюжины книг.

Итак, коммунисты называли нас троцкистами, фашистами, убийцами, трусами, шпионами. Признаюсь, в этом было мало приятного, особенно, когда я вспоминал кое-кого из тех, кто сочинял эту пропаганду. Каково было видеть пятнадцатилетнего испанского парнишку, выносимого на носилках из окопа, смотреть на его безжизненное белое лицо и думать о прилизанных ловкачах в Лондоне и Париже, строчащих памфлеты, в которых доказывается, что этот паренек — переодетый фашист? Одна из самых жутких черт войны состоит в том, что военную пропаганду, весь этот истошный вой, и ложь, и крики ненависти стряпают люди, сидящие глубоко в тылу. Ополченцы из отрядов Р.З.Ц.С., которых я знал по фронту, коммунисты-бойцы интернациональных бригад, попадавшие время от времени на моем пути, никогда не называли меня троцкистом или предателем; это занятие они оставляли журналистам-тыловикам. Те, кто писали против нас памфлеты и смешивали с грязью на страницах газет, сидели в полной безопасности у себя дома, или, по крайней мере, в редакциях в Валенсии, в сотнях миль от пуль и грязи. Кроме оскорблений, сыпавшихся в порядке межпартийной грызни, газеты были полны обычной военной чепухи — барабанного грохота, прославления своих и оплевывания противника. И все это, как обычно, делалось людьми, не участвовавшими в боях, людьми, готовыми

бежать без оглядки пока ноги несут, лишь бы удрать с поля боя. Война научила меня — это один из самых ее неприятных уроков, — что левая печать так же фальшива и лицемерна, как и правая<sup>10</sup>.

Я был совершенно убежден, что мы — сторонники правительства — ведем войну, ничем не похожую на обычную, империалистическую войну. Но наша военная пропаганда не давала оснований для такого вывода. Едва начались бои, как красные и правые газеты одновременно начали злоупотреблять бранью. Памятен заголовок в «Дейли мейл»: «Красные распинают монахинь!» В это же время «Дейли уоркер» писала, что Иностраннный легион Франко «состоит из убийц, торговцев женщинами, наркоманов и отребья всех стран Европы». В октябре 1937 года «Нью стейтсмен» потчевала нас рассказами о фашистских баррикадах, сложенных из живых детей (чрезвычайно неудобный материал для возведения баррикад), а мистер Артур Брайан уверял, что в республиканской Испании «отпиливание ног консервативным купцам» дело «самое обычное». Люди, которые пишут подобные вещи, сами никогда не воюют; они, возможно, полагают, будто подобная писанина вполне заменяет участие в сражении. Всегда происходит то же самое: солдаты воюют, журналисты вопят, и ни один истинный патриот не считает нужным приблизиться к окопам, кроме как во время коротеньких пропагандистских вылазок. Иногда я с удовлетворением думаю о том, что самолеты меняют условия войны. Возможно, когда наступит следующая большая война, мы увидим то, чего до сих пор не знала история — ура-патриота, отхватившего пулю.

Для журналистов эта война, как и все другие войны, была бизнесом. Разница заключалась лишь в том, что если обычно журналисты берегут свои ядовитейшие оскорбления для врага, на этот раз коммунисты и Р.О.У.М. постепенно стали писать друг о друге хуже, чем о фашистах. Тем не менее, в то время мне трудно было воспринимать все это всерьез. Межпартийные распри раздражали меня, вызвали отвращение, но, все же, они представлялись мне не более чем домашней склокой. Я не верил в то, что они изменят что-либо, не верил в наличие действительно неприемлимых разногласий по политическим вопросам. Я осознал, что коммунисты и либералы твердо решили задержать дальнейшее развитие революции; я не понимал, что они в состоянии повернуть ее вспять.

Почему я так думал — понятно. Все это время я находился на фронте, а на фронте социальная и политическая атмосфера оставались без перемен. Я выехал из Барселоны в начале января, а отпуск получил лишь в конце апреля; все это время, собственно говоря, и позже, на участке арагонского фронта, контролируемого отрядами Р.О.У.М. и анархистами, — по крайней мере внешне, — ничего не изменилось. Революционная атмосфера оставалась такой же, какой я знал ее раньше. Генерал и рядовой, крестьянин и ополченец по-прежнему общались как равный с равным, говорили друг другу «ты» или «товарищ». У нас не было класса хозяев и класса рабов, не было нищих, проституток, адвокатов, священников, не было лизоблюдства и козыряния. Я дышал воздухом равенства и был достаточно наивен, чтобы верить, что таково

---

<sup>10</sup> Мне хотелось бы сделать одно только исключение — для газеты «Манчестер гардиан». Работая над этой книгой, я просмотрел подшивки многих английских газет. Из наших больших газет только «Манчестер гардиан» вызвала у меня еще больше уважения — за свою честность.

положение во всей Испании. Мне и в голову не приходило, что по счастливому стечению обстоятельств, я оказался изолированным вместе с наиболее революционной частью испанского рабочего класса.

Неудивительно поэтому, что когда мои более развитые в политическом отношении товарищи говорили, что к войне нельзя относиться только с чисто военной точки зрения, что выбирать нужно между революцией и фашизмом, я был склонен смеяться над их словами. В целом я принимал коммунистическую точку зрения, сводившуюся к формуле: «Мы не можем говорить о революции, пока мы не выиграли войну», считая неприемлемой позицию Р.О.У.М., гласившую: «Мы должны идти вперед, ибо иначе мы пойдем назад». Когда позднее я понял, что прав был Р.О.У.М., во всяком случае более прав, чем коммунисты, это произошло не в области чистой теории. На бумаге позиция коммунистов выглядела убедительно; вся беда заключалась лишь в том, что их дела заставляли сомневаться в их искренности. Часто повторяемый лозунг: «Сначала война, потом революция», был выдуман для отвода глаз, хотя в него искренне верили рядовые бойцы ополчения P.S.U.C., считавшие, что после победы революция пойдет вперед. В действительности же, коммунисты вовсе не думали о том, чтобы отложить испанскую революцию на более подходящее время. Они делали все, чтобы революция никогда не произошла. Постепенно это становилось все яснее и яснее — по мере того как у рабочего класса отбирали власть, а все больше и больше революционеров всех оттенков оказывались в тюрьмах. Каждый шаг оправдывался военной необходимостью: этот предлог был, так сказать, сшит как по заказу. В действительности же, коммунисты стремились вытеснить рабочих с выгодных позиций и загнать их в такое положение, чтобы после окончания войны они были не в состоянии противиться реставрации капитализма. Прошу обратить внимание, что я не выступаю здесь против рядовых коммунистов, и уж конечно меньше всего против тех тысяч из их числа, которые пали геройской смертью в боях под Мадридом. Не эти люди определяли политику партии. В то же время невозможно поверить, что те, кто занимал руководящие посты, не ведали, что творили.

Но в конечном итоге стоило выиграть войну, даже если революция была обречена. Однако под конец я начал сомневаться и в том, что политика коммунистов направлена на достижение победы. Очень немногие осознали, что на разных этапах войны может возникнуть необходимость в изменении политической линии. Анархисты, по-видимому, спасли положение в первые два месяца войны, но были неспособны организовать сопротивление на следующем этапе; коммунисты, видимо, спасли положение в октябре-декабре, но до окончательной победы было еще очень далеко. В Англии военную политику коммунистов приняли без всяких возражений; прежде всего потому, что лишь малая толика критических замечаний в ее адрес смогла просочиться в газеты, а также потому, что генеральная линия — ликвидация революционного хаоса, увеличение выпуска продукции, создание регулярной армии — казалась вполне реальной и дельной. Стоит указать на внутреннюю слабость коммунистической линии.

Для того, чтобы душисть в зародыше каждое революционное проявление и сделать войну как можно более похожей на войну обычного типа, необходимо было отказываться от возникавших стратегических возможностей. Я писал выше, как мы были вооружены, или лучше сказать разоружены, на Арагонском фронте. Есть все

основания полагать, что оружие умышленно задерживалось, из опасения, что оно может попасть в руки анархистов, которые позднее используют его для революционных целей; в результате было сорвано большое наступление на Арагонском фронте, которое заставило бы Франко отойти от Бильбао, а быть может, и от Мадрида. Но не это самое главное. Значительно важнее другое: после того, как война в Испании превратилась в «войну за демократию», стало невозможным заручиться массовой поддержкой рабочего класса зарубежных стран. Если мы готовы смотреть в лицо фактам, мы вынуждены будем признать, что мировой рабочий класс относился к войне в Испании равнодушно. Десятки тысяч прибыли в Испанию, чтобы сражаться, но десятки миллионов апатично остались позади. В течение первого года войны в Англии было собрано в различные фонды «помощи Испании» всего около четверти миллиона фунтов, наверное вдвое меньше суммы, расходуемой еженедельно на кино. Рабочий класс демократических стран мог помочь своим испанским товарищам забастовками и бойкотом. Но об этом не было даже речи. Рабочие и коммунистические лидеры во всех странах заявили, что это немыслимо; они были несомненно правы, — ведь они в то же время во всю глотку орали, что «красная» Испания вовсе не «красная». После первой мировой войны слово «война за демократию» приобрели зловещее звучание. В течение многих лет сами коммунисты учили рабочих всего мира, что «демократия» — это всего навсего более обтекаемое определение понятия «капитализм». Сначала заявлять «Демократия — это обман», а потом призывать «Сражаться за демократию» — тактика не из лучших. Если бы коммунисты, поддержанные Советской Россией с ее колоссальным авторитетом, обратились к рабочим мира во имя не «демократической Испании», а «революционной Испании», трудно поверить, что их призыв не встретил бы отклика.

Но самое главное было то, что ведя неревOLUTIONную политику, было трудно, а то и совсем невозможно, нанести удар по франкистскому тылу. Летом 1937 года на контролируемых Франко территориях находилось больше населения, чем под контролем республиканского правительства — значительно больше, если считать также испанские колонии. В то же время численность войск обеих сторон была приблизительно одинаковой. Всякому известно, что имея в тылу враждебное население, невозможно держать армию на фронте, не располагая армией сходной численности для охраны дорог, борьбы с саботажем и т. д. Отсюда понятно, почему в тылу Франко не было подлинного народного сопротивления. Нельзя себе представить, что население занятой им территории, это во всяком случае относится к городским рабочим и бедным крестьянам, любило или поддерживало Франко, но каждый шаг вправо делая преимущество республиканского правительства все более и более иллюзорным. Лучшим свидетельством этому был вопрос Марокко. Почему Марокко не восстало? Франко пытается навязать им позорную диктатуру, а марокканцы предпочитают его правительству Народного фронта! Но поднять восстание в Марокко значило придать войне революционный характер, поэтому не было даже попытки призвать к восстанию. Для того, чтобы убедить марокканцев в добрых намерениях республиканского правительства, необходимо было объявить Марокко свободным. Можно себе представить, насколько такой шаг пришелся бы по вкусу французскому правительству! Лучший стратегический ход войны был упущен в тщетной попытке умиловить французский и британский капитализм. Суть всей коммунистической политики

сводилась к стремлению превратить войну в обычную, неревOLUTIONIONную, то есть такую, в которой все преимущества были на стороне врага. Войну обычного типа можно выиграть лишь благодаря техническому преимуществу, то есть в конечном итоге, заручившись неограниченными поставками оружия; главный же поставщик республиканского правительства — Советский Союз находился в значительно менее выгодном географическом положении, чем Италия и Германия. Отсюда следует, что лозунг Р.О.У.М. и анархистов: «Война и революция неотделимы», был, возможно, вовсе не таким уж непрактичным, каким он казался на первый взгляд.

Я объяснил, почему коммунистическая антиреволюционная политика представляется мне ошибочной. Хочется, однако, верить, что я ошибся, предсказывая ее влияние на исход войны. Здесь я хотел бы оказаться тысячу раз неправым. К тому же, нельзя, разумеется, знать, что случится дальше. Правительство может снова сделать поворот влево, марокканцы могут восстать по собственной инициативе, Англия может решить заплатить Италии за отказ от участия в войне, возможно удастся выиграть войну чисто военными средствами — заранее знать ничего нельзя. Я оставляю изложенные выше соображения и пусть время покажет был ли я прав или ошибался.

В феврале 1937 года положение представлялось мне в ином свете. Мне надоело до тошноты бездействие на Арагонском фронте, а главное, я чувствовал, что не сумел внести своей доли в борьбу. Мне вспоминался плакат на улицах Барселоны, требовательно спрашивающий у прохожих: «Что **ты** сделал для демократии?» Я мог дать лишь один ответ: «Получал пищевой паек». Вступив в ополчение, я дал себе слово убить одного фашиста — в конце концов, если бы каждый из нас убил по одному фашисту, то их скоро не стало бы совсем. Но пока я не убил ни одного, да и вряд ли имел на это шансы в будущем. И, конечно, мне хотелось попасть в Мадрид. Все бойцы, независимо от их политических взглядов, стремились в Мадрид. Это, по-видимому, означало переход в интернациональную бригаду, ибо у Р.О.У.М. было под Мадридом очень мало войска, а у анархистов — меньше, чем раньше.

Пока, конечно, нужно было оставаться в строю, но я рассказывал всем, что когда мы пойдем в отпуск, я, если представится возможность, перейду в интернациональную бригаду, то есть под командование коммунистов. Многие старались переубедить меня, но никто не пробовал вмешиваться. Нужно признать, что в Р.О.У.М. еретиков не преследовали, может быть относились к ним даже слишком терпимо; если вспомнить наши обстоятельства, никого, за исключением явных профашистов, не преследовали за политические взгляды. За время своего пребывания в ополчении я многократно и резко критиковал «линию» Р.О.У.М., но никогда не напоролся из-за этого на неприятности. Ни на кого не оказывалось давление с целью побудить его вступить в партию, хотя мне думается, большинство ополченцев состояли в партии. Лично я никогда в партию не вступил, о чем позднее, когда Р.О.У.М. подвергся преследованиям, успел пожалеть.

## 6

А тем временем, ежедневно, точнее еженочно тянулась служба — караулы, патрули, рытье окопов, грязь, дожди, свист ветра и, время от времени, снег. Лишь когда окончательно утвердился апрель, ночи стали заметно теплее. Март на нашем плоскогорье напоминал март в Англии с его ярким синим небом и порывистыми ветрами. Озимый ячмень поднялся на фут от земли, на вишнях завязывались розовые бутоны (линия фронта шла через заброшенные вишневые сады и огороды), в канавах начали попадаться фиалки и дикий гиацинт, скорее напоминавший неприглядный колокольчик. У самых наших окопов бурлил чудесный, зеленый ручеек, — впервые с момента прибытия на фронт я увидел прозрачную воду. Однажды, стиснув зубы, я полез в речушку, чтобы искупаться первый раз за шесть недель. Купание вышло, признаться, короткое, температура воды была только чуть выше нуля.

А пока все оставалось по-прежнему, не происходило ровным счетом ничего. Англичане стали поговаривать, что это не война, а дурацкая пантомима. Прямым огнем фашисты достать нас, по существу, не могли. Единственную опасность представляли случайные пули, особенно — на выдвинутых вперед флангах. Там пули сыпались с разных направлений. Все наши потери в этот период были вызваны шальными пулями. Непонятно откуда взявшаяся пуля раздробила Артуру Клинтону левое плечо и, боюсь, навсегда парализовала руку. Изредка постреливала артиллерия, но огонь был неприцельный. Свист снарядов и грохот разрывов мы воспринимали как некоторое развлечение. Ни один фашистский снаряд не попал в наш бруствер. В нескольких сотнях метров позади нас виднелось поместье Ла Гранха, в его просторных помещениях находились наши склады, штаб и кухня. Вот в нее-то и целились фашистские артиллеристы, находившиеся на расстоянии пяти или шести километров. Впрочем, они так никогда и не накрыли цель, — им удалось лишь выбить стекла и поцарапать осколками стены. В опасности был лишь тот, кто оказывался на дороге в момент, когда начиналась стрельба и снаряды рвались в полях по обеим сторонам дороги. Почти сразу же все мы овладели таинственным искусством узнавать по звуку летящего снаряда, разорвется он близко или далеко. В этот период у фашистов были очень скверные снаряды. Имея крупный калибр (150 мм), снаряды эти делали воронки, имевшие не более 1м. 80см. в диаметре и примерно в 1м. 20см. в глубину. Кроме того, по меньшей мере один из каждых четырех снарядов не разрывался. Окопные романтики рассказывали о саботаже на фашистских заводах, о холостых снарядах, в которых вместо взрывчатки находили записки: «Рот фронт», но я лично никогда таких снарядов не видел. Дело просто в том, что стреляли в нас безнадежно старыми снарядами; кто-то поднял латунную крышку взрывателя с выбитой датой — 1917. У фашистов были такие же орудия, как у нас и того же калибра, поэтому неразорвавшиеся снаряды часто вправляли в гильзы и выстреливали обратно. Говорили, что есть

один снаряд — ему даже дали особое прозвище, — который ежедневно путешествовал туда и обратно, не взрываясь.

По ночам маленькие патрули посылались на ничейную землю. Подобравшись к фашистским окопам, они слушали доходившие до них звуки (сигналы рожка, гудки автомашин), по которым можно было судить о том, что происходит в Хуэске. Фашистские войска часто сменялись, и подслушивание позволяло приблизительно определять их численность. Нас специально предупредили, чтобы мы прислушивались к колокольному звону. Было известно, что фашисты перед боем всегда отправляют мессу. В полях и садах мы натыкались на покинутые глинобитные хибарки. Предварительно затемнив окна, мы обшаривали эти домики при свете спички и находили иногда такие полезные вещи, как широкий нож-резак или забытую фашистским солдатом баклагу (они были лучше наших и очень высоко ценились). Бывали и дневные вылазки, но днем обычно приходилось ползать на четвереньках. Как странно было ползти по этим пустынным плодородным полям, где все вдруг замерло в самый разгар урожайной страды. Прошлогодний урожай остался необранным. Не срезанные виноградные лозы змеились по земле, кукурузные початки стали твердыми как камень, чудовищно разрослась кормовая и сахарная свекла, превратившись в бесформенные одеревенелые глыбы. Как, должно быть, проклинали крестьяне обе армии! Время от времени небольшие группы бойцов уходили на ничейную землю копать картошку. Примерно в полутора километрах от нас, на правом фланге, где окопы сближались, было картофельное поле, на которое мы наведывались днем, а фашисты только ночью, ибо наши пулеметы занимали здесь господствующую позицию. Как-то ночью фашисты нагрянули толпой и опустошили все поле, что нас очень разозлило. Мы нашли другую делянку, подальше, но там не было никакого укрытия, и картошку приходилось копать лежа на животе. Занятие утомительное. Когда вражеские пулеметчики засекали нас, приходилось распластываться по земле, как крыса, старающаяся прошмыгнуть в щель между дверью и полом. В это время пули взбивали землю в нескольких метрах от нас. Но игра стоила свеч. Картошки не хватало. Если удавалось собрать мешок, ее можно было обменять на кухне на баклагу кофе.

У нас по-прежнему ничего не происходило, казалось даже, что и произойти то ничего не может. «Когда мы пойдем в атаку?», «Почему мы не атакуем?» — эти вопросы задавали без устали и испанцы и англичане. Странно слышать от солдат, что они хотят драться, зная, чем это пахнет, но они действительно рвались в бой. В окопах солдат всегда ждет трех вещей: боя, выдачи сигарет и недельного отпуска. Теперь мы были вооружены немного лучше, чем раньше. Каждый боец имел по сто пятьдесят патронов вместо прежних пятидесяти, постепенно нам выдали штыки, каски и по несколько гранат. Слухи о предстоящем наступлении не прекращались. Теперь я думаю, что их распространяли умышленно — для поддержания боевого духа солдат. Не требовалось специального военного образования, чтобы понять, что под Хуэской крупных боевых действий не предвидится, по крайней мере, в ближайшем будущем. Стратегическое значение имела дорога в Яку, тянувшаяся вдоль противоположной стороны города. Позднее, когда анархисты перешли в наступление, стремясь захватить дорогу, нам было приказано произвести «отвлекающие атаки» и оттянуть на себя фашистские войска.



В течение шести недель на нашем участке фронта была произведена только одна атака. Наш ударный батальон атаковал Маникомо — бывший сумасшедший дом, превращенный фашистами в крепость. В рядах ополчения P.O.U.M. служило несколько сот немцев, бежавших из гитлеровской Германии. Их свели в специальный батальон, названный Ударным. С военной точки зрения они резко отличались от других отрядов ополчения, больше походя на солдат, чем какая-либо другая часть в Испании, если не считать жандармерии и некоторых соединений Интернациональной бригады. Из затеи перейти в наступление, разумеется, ничего не получилось, — да и какое наступление правительственных войск в ходе этой войны не было загублено? Ударный батальон взял штурмом Маникомо, но части, не помню какого ополчения, не выполнили приказа о захвате холма, господствовавшего над крепостью. Их вел на приступ капитан, один из тех офицеров регулярной армии, в лояльности которых были все основания сомневаться, но которых правительство, тем не менее, брало на службу. То ли испугавшись, то ли пойдя на предательство, капитан предупредил фашистов и бросил гранату на расстоянии двухсот метров от их окопов. Я с удовлетворением узнал, что бойцы пристрелили своего капитана на месте. Но атака потеряла эффект неожиданности, сильным огнем противник скопил ряды атакующих ополченцев, принудив их отступить, а к вечеру ударный батальон оставил Маникомо. Всю ночь по разбитой дороге в Сиетамо ползли санитарные машины, добывая тяжелораненых тряской на ухабах.

К этому времени мы все обовшивели; хотя было еще довольно холодно, вшей температура устраивала. У меня большой опыт общения с насекомыми разных видов, но ничего омерзительнее вшей мне встречать не приходилось. Другие насекомые, например москиты, кусаются сильнее, но они, по крайней мере, не обитают на вашем теле. Вошь несколько напоминает малюсенького рачка и живет, обычно, в швах штанов. Избавиться от нее совершенно невозможно, разве что, путем сожжения всей одежды. Вошь откладывает в швах брюк блестящие маленькие яйца, наподобие зернышек риса, из которых с поражающей быстротой выводятся новые поколения. Думаю, что пацифистам неплохо бы украшать свои памфлеты увеличенной фотографией вши. Вот она — военная слава! На войне солдат **всегда** заедают вши, если, конечно, достаточно тепло. Где бы солдат ни дрался — под Верденом, под Ватерлоо, у Флоддена, под Сенлаком или под Фермопилами — у него всегда в паху ползали вши. Мы боролись с насекомыми, прожаривая швы одежды и купаясь так часто, как позволяли условия. Кроме вшей, вряд ли что-либо могло заставить меня лезть в ледяную воду реки.

Все подходило к концу — башмаки, одежда, табак, мыло, свечи, спички, оливковое масло. Наша форма разваливалась, многие бойцы носили вместо ботинок сандалии на веревочной подошве. Повсюду валялись горы изношенной обуви. Как-то мы два дня жгли костры из ботинок, оказавшихся неплохим топливом. К этому времени моя жена приехала в Барселону и присылала мне чай, шоколад и даже сигары, когда ей удавалось их достать. Но и в Барселоне тоже ощущался недостаток продуктов, в первую очередь табака. Чай был манной небесной, у нас не было молока, и редко случался сахар. Из Англии в адрес бойцов постоянно отправлялись посылки, но они никогда к нам не доходили; пища, одежда, сигареты — либо не принимались почтой, либо конфисковались во Франции. Любопытно знать, что лишь один отправитель

сумел переслать моей жене несколько пачек чая и однажды — памятный случай — коробку бисквитов. Этим отправителем были интендантские склады Военно-Морского флота. Бедняги! Армия и Флот с честью выполнили свой долг, но им, вероятно, было бы приятнее, если бы посылка шла к солдатам Франко. Больше всего нас мучила нехватка табака. Сначала мы получали по пачке сигарет в день, затем по восемь штук, а потом по пять. Наконец нам пришлось перенести десять убийственных дней без курева. Впервые я увидел в Испании зрелище столь обыденное для Лондона — я видел людей, собирающих окурки.

В конце марта у меня выскочил нарыв на руке, нарыв пришлось вскрыть, а руку подвесить на перевязь. Не было, однако, смысла из-за такого пустяка везти меня в госпиталь в Сиетамо, и я остался в так называемом «госпитале» в Монфлорите, который был, по существу, перевязочным пунктом. Я провел там десять дней, часть времени пролежав в постели. Практиканты (так называли фельдшеров) украли у меня, практически все ценные вещи, в том числе фотоаппарат, а заодно и все мои снимки. На фронте все воруют, это неизбежный результат плохого снабжения, но особенно отличаются госпитальные работники. Позднее, в барселонском госпитале, я встретил американца, прибывшего в интернациональную бригаду на судне, торпедированном итальянской подводной лодкой. Американец рассказывал, что когда его раненого несли на берег, то санитары, вталкивая носилки в машину, успели снять с него наручные часы.

С рукой на перевязи, я провел несколько чудесных дней, бродя по окрестностям Монфлорите. Это была обычная испанская деревушка — кучка глинобитных и каменных домов, узкие кривые улочки, изъезженные грузовиками до такой степени, что они стали походить на лунные кратеры. Сильно поврежденная церковь была отведена под военный склад. Во всей округе было только две сравнительно больших усадьбы — Торре Лоренцо и Торре Фабиан, и только два крупных здания, видимо, дома помещиков, некогда владевших этой землей. Они как бы любовались своим богатством, глядя на убогие хижины крестьян. Сразу же за рекой, неподалеку от линии фронта, стояла огромная мельница с пристроенным к ней домом. Чувство стыда и неловкости вызывал вид ржавеющих без дела дорогих машин, разобранного на дрова пола. Позднее, тыловые части начали присылать сюда людей на грузовиках, которые принялись за дело систематически. На дрова пошла вся мельница. Солдаты обычно рвали полы ручным гранатами. В Ла Гранха, где находились наши склады и кухня, некогда, должно быть, помещался монастырь. На площади в акр, а то и больше, стояли хозяйственные постройки, в том числе конюшня на тридцать-сорок лошадей. Деревенские дома в этой части Испании в архитектурном отношении не представляют интереса, но хозяйственные постройки, сооруженные из камня и глины, с круглыми сводами и великолепными потолочными балками, имеют благородный вид. Построены они по образцам, не менявшимся, должно быть, многие века. Иногда вы, сами того не желая, вдруг понимали, что чувствуют бывшие владельцы этих усадеб — фашисты — при виде того, как здесь хозяйничают бойцы ополчения. В Ла Гранхе, все пустующие комнаты были превращены в уборные — кошмарное месиво из обломков мебели и экскрементов. В примыкавшей к дому маленькой церкви, стены которой были изрешечены пулями, кал лежал сплошным толстым слоем. Тошнотворная свалка ржавых консервных банок, грязи, лошадиного навоза и

разложившейся пищи украшала большой внутренний двор, где повара раздавали еду. Вспоминались слова старой солдатской песни:

Вот так крысы,  
Ростом с кошку,  
В интендантстве завелись!

В Ла Гранхе крысы действительно напоминали размерами котов; большие, жиревшие, они бродили по горам мусора, обнаглев до того, что разогнать их можно было только выстрелами.

Наконец-то на дворе установилась весна. Небесная синева стала нежнее, воздух вдруг пропитался пряным ароматом. В канавах шумно спаривались лягушки. Возле водопоя, куда водили мулов всей деревни, я нашел изящных зеленых лягушат, размером с маленькую монетку, такого яркого цвета, что молодая трава блекла рядом с ними. Деревенские ребята шли с ведрами ловить улиток, которых они жарили живьем на кусках жести. Как только погода установилась, крестьяне вышли в поле на весеннюю пахоту. Испанская аграрная революция — явление настолько непонятное, что мне так и не удалось выяснить, была ли земля обобществлена или крестьяне просто разделили ее между собой. Думаю, что теоретически землю обобществили, поскольку верховодили здесь Р.О.У.М. и анархисты. Во всяком случае, помещиков не было, земля обрабатывалась, народ казался довольным. Дружелюбие крестьян по отношению к нам не переставало меня удивлять. Тем из их числа, кто постарше, война должна была представляться бессмысленной; она принесла с собой нехватку самого необходимого и ужасающе скучную жизнь для всех. Кроме того, крестьяне и в лучшие времена не любят, когда в их деревнях расквартировывают солдат. И тем не менее, они относились к нам неизменно дружелюбно, понимая, видимо, что хотя мы и невыносимы кое в чем, мы стоим между крестьянами и бывшими их помещиками. Гражданская война явление несуразное. Хуэска лежала менее чем в десяти километрах от деревни. В Хуэску крестьяне ездили на рынок, там у них были родственники, туда каждую неделю в течение всей своей жизни они отправлялись торговать птицей и овощами. А теперь вот уже восемь месяцев непреодолимый барьер колючей проволоки и пулеметного огня лежал между ними и городом. Случалось, что они забывали об этом. Однажды я спросил у старушки, несшей маленькую железную лампу, из тех, которые наполняют оливковым маслом: «Где я могу купить такую лампу?» — «В Хуэске», — ответила она не задумываясь и мы оба рассмеялись. Деревенские девушки, очаровательные создания с угольно-черными волосами и танцующей походкой, вели себя очень откровенно и непосредственно, что тоже, вероятно, было результатом революции.

Мужчины в потрепанных голубых рубашках и черных вельветовых штанах, в широкополых соломенных шляпах, шли за плугами, которые тащили упряжки мулов, ритмично шевеливших ушами. Жалкие плуги едва царапали землю, не оставляя за собой ничего похожего на настоящую борозду. Все сельскохозяйственные орудия местных крестьян безнадежно устарели, что объясняется прежде всего дороговизной металла. Когда ломался, например, лемех, его латали, потом латали снова, и так до тех пор, пока на нем не оставалось живого места. Грабли и вилы делались из дерева.

Крестьяне, редко носившие башмаки, не знали лопаты; они копали землю неуклюжей мотыгой, вроде тех, которыми пользуются в Индии. Здешняя борона видимо не изменилась со времен каменного века. Эти бороны, величиной с кухонный стол, сколачивались из досок, в которых выдалбливались сотни дырочек, а в каждую из дырочек вставлялся кремень, обтесанный точно таким же способом, каким обрабатывали камень десять тысяч лет назад. Помню, что я почувствовал нечто вроде ужаса, увидев впервые это орудие в брошенной хижине на ничьей земле. Я долго рассматривал его, прежде чем до меня дошло, что это борона. Мне стало дурно при мысли о том, сколько труда нужно вложить, чтобы сделать такую штуку, от сознания бедности, заставлявшей пользоваться кремнем вместо стали. С того времени я стал относиться гораздо более доброжелательно к промышленному развитию. В деревне были и два современных трактора, видимо отобранных у крупного помещика.

Раза два я дошел до маленького огороженного кладбища, лежавшего примерно в миле от деревни. Убитых на фронте обычно отвозили в Сиетамо; здесь же лежали деревенские покойники. Странное кладбище, совсем непохожее на английское. Никакого почтения к мертвым! — Все заросло кустами и жесткой травой, всюду валяются человеческие кости. Но особенно удивило меня полное отсутствие религиозных надписей на могильных камнях, хотя все они были поставлены до революции. Только один раз, кажется, я здесь обнаружил столь обычную для католических кладбищ надпись: «Молитесь за душу такого-то». Большинство надписей носило совершенно мирской характер, много было шуточных стихов, восхвалявших добродетели усопшего. Крест или беглое упоминание о небе попадались на одной из четырех-пяти могил, но и их почти всюду сбил долотом какой-то ревностный безбожник.

Народ в этой части Испании, как мне показалось, совершенно лишен религиозных чувств, — я имею в виду ортодоксальную религиозность. Любопытно, что за все время моего пребывания в Испании, я ни разу не видел крестившегося человека, а ведь это движение, казалось бы, должно стать машинальным, не зависящим от революции. Конечно, испанская церковь вернется к жизни (есть поговорка — ночь и иезуиты всегда приходят снова), но так же очевидно, что с началом революции она совершенно рухнула. Такое, думаю, не могло бы приключиться в подобных обстоятельствах даже с умирающей англиканской церковью. Для испанского народа, во всяком случае для Каталонии и Арагона, церковь — это просто-напросто обман. Христианскую веру, возможно, в какой-то степени заменил анархизм, широко распространившийся и несомненно имеющий религиозную окраску.

В тот день, когда я вернулся из госпиталя, мы передвинули наши окопы примерно на тысячу метров вперед, где им полагалось быть и раньше, и заняли позиции на берегу небольшого ручья, в нескольких сотнях ярдов от фашистов. Эту операцию следовало провести несколько месяцев назад; теперь ее цель была отвлечь часть сил противника и помочь анархистам, атаковавшим дорогу на Яку.

Мы не спали шестьдесят или семьдесят часов, и события вспоминаются сквозь туман, точнее отдельными картинками. Я помню, что мы подслушивали разговоры противника на ничьей земле, в сотне метров от Каза Франчеза, крестьянского дома, превращенного в часть линии фашистской обороны; семь часов сряду мы лежали в вонючем болоте, мокли в пропахшей камышами воде, чувствуя, как тело погружается все глубже и глубже. Память сохранила запах камыша, леденящий холод, неподвиж-

ные звезды в черном небе, хриплое кваканье лягушек. Стоял уже апрель, но я не помню в Испании ночи холоднее. Хотя всего в ста метрах позади нас рылись окопы, стояла полная тишина, нарушаемая лишь хором лягушек. Только один раз в течение всей ночи я услышал посторонний звук, — знакомое шлепанье лопаты, трамбуемой мешок с песком. Как это ни странно, время от времени испанцы вдруг проявляют чудеса организованности. За семь часов шестьсот человек отрыли тысячу двести метров траншей, защищенных бруствером и сделали это так тихо, что фашисты не слышали ни одного звука, хотя они были на расстоянии всего 150-300 метров. В течение ночи мы потеряли только одного человека. На следующий день, конечно, потери возросли. Каждый боец точно знал, что ему нужно делать, а как только работа была закончена, сразу же явились разносчики пищи с бурдюками вина, в которое был подмешан коньяк.

Потом рассвело и фашисты внезапно обнаружили нас прямо под своим носом. Мы находились в двухстах метрах от Каза Франчеза, но казалось, что ее квадратное белое строение нависало прямо над нами, а пулеметы, видневшиеся в заложённых песком верхних окнах, были наведены точно на наши окопы. Мы глазели на Каза Франчеза, удивляясь, почему фашисты нас не замечают, как вдруг брызнул бешеный град пуль. Все попадали на колени и начали яростно окапываться, углублять траншею, рыть боковые лисьи норы. Поскольку моя рука все еще была в перевязке и копать я не мог, я провел большую часть дня за чтением детективного романа «Пропавший ростовщик». Содержания книги я не помню, но очень живо вспоминаются все ощущения, которые сопровождали чтение: мокрая глина на дне окопа, я все время убираю ноги, о которые спотыкаются люди, пробегающие мимо меня, визг пуль над самой головой. Томас Паркер был ранен навывлет пульей в бедро, что, как он заявил, совсем не входило в его расчеты. Мы несли потери, но их нельзя было даже сравнить с теми потерями, которые мы могли иметь, если бы фашисты обнаружили нас ночью. Позднее мы узнали от дезертира, что пять фашистских часовых было расстреляно за халатность. Но даже и сейчас они могли нас всех перестрелять, если бы догадались подтащить несколько минометов. Очень неудобно было выносить раненых по узким, тесным трап-шеям. Я видел, как вываливался из носилок и задыхался в агонии солдат в черных от крови бриджах. Раненых нужно было нести километра полтора, а то и больше, ибо санитарные машины никогда не подъезжали близко к фронтовой линии, даже когда к ней вела дорога. Если же санитарные машины приближались к передовой, то фашисты били по ним из пушек, с некоторым, впрочем, основанием, ибо в современной войне никто не подумает дважды, прежде чем использовать санитарные машины для подвозки боеприпасов.

На следующую ночь мы ждали в Торре Фабиан приказа атаковать. Приказ об отмене атаки был передан в последнюю минуту по рации. Мы ждали в амбаре, сидя на мякине, тонким слоем покрывавшей груды перемешанных человеческих и коровьих костей. Амбар кишмя кишел крысами. Мерзкие животные выскакивали со всех сторон. Нет ничего, что я ненавидел бы больше крысы, шныряющей по моему телу в потемках. Впрочем, мне удалось наподдать одной так здорово, что она отлетела в сторону.

Ждем сигнала. В пятидесяти или шестидесяти метрах от фашистского бруствера длинная цепь людей, сидящих на корточках в оросительной канаве. В темноте видны

лишь острия штыков и белки глаз. За нашей спиной сидят Копп и Бенжамен, а возле них связист с рацией на спине. На западе видны розовые вспышки орудийных выстрелов, а вслед за ними, через несколько секунд следуют мощные взрывы. Потом мы услышали потрескивание рации и отданный шепотом приказ отходить, пока не поздно. Мы отошли, но недостаточно быстро. Двенадцать несчастных парнишек из J.C.I. (Молодежной лиги P.O.U.M.; в ополчении P.S.U.C. лига называлась J.S.U.), залегших всего в сорока метрах от фашистской позиции, были захвачены рассветом врасплох и не смогли отступить. Весь день пролежали они, прикрытые лишь пучками травы, фашисты стреляли, как только замечали малейшее движение. К ночи семеро из ребят были убиты, пятерым удалось выползти с наступлением темноты.

Много дней подряд мы вслушивались в звуки боя, который вели анархисты по другую сторону Хуэски. Звуки были неизменно те же: внезапно, еще до рассвета, грохот нескольких десятков одновременно взорвавшихся снарядов — даже на далеком расстоянии дьявольский гул — и затем непрерывный рев ураганного огня из винтовок и пулеметов, тяжелый катящийся звук, странным образом напоминающий барабанный бой. Постепенно в стрельбу включались все укрепления, окружавшие Хуэску, и мы стояли, сонно прислонившись к брустверу, слушая свист пуль, бессмысленно чертивших над нами воздух.

Днем оружейная стрельба велась беспорядочно. Был обстрелян и частично разрушен Торре Фа-биан, в котором теперь разместилась наша кухня. Любопытно, что если смотреть на артиллерийскую стрельбу с безопасного расстояния, то всегда хочется, чтобы цель была накрыта, даже если под огнем находится ваш обед и несколько товарищей. В это утро фашисты стреляли хорошо; возможно, за дело принялись немецкие наводчики, — они точно взяли в вилку Торре Фабиан. Первый снаряд — перелет, второй — недолет, третий накрыл цель. Взлетели взорванные балки, кусок крыши поднялся, как подброшенная игральная карта. Следующий снаряд отсек угол дома, так аккуратно, как если бы его отрезал ножом великан. Но повара приготовили обед во время — достижение немалое.

Шли дни, и мы научились различать скрытые от глаза, но зато хорошо слышимые пушки. Мы узнавали две батареи русских 75-миллиметровок, стрелявшие совсем недалеко от нас. Слыша их, я почему-то представлял себе толстого игрока в гольф, ударяющего по мячу. Это были первые русские пушки, которые мне довелось увидеть, вернее, услышать. Снаряд выходил из жерла с большой скоростью и летел низко. Поэтому до нас доходили почти одновременно звук выстрела, свист снаряда и взрыв. За Монфлорите стояли два тяжелых орудия, выпускавших по несколько снарядов в день. Их глубокое, глухое рычание напоминало далекий рев прикованного к скале чудовища. Из средневековой крепости на горе Арагон, взятой штурмом правительственными войсками в прошлом году (говорили, что она пала впервые в истории) и защищавшей один из подступов к Хуэске, была тяжелая пушка, должно быть столетней давности. Ее грузные снаряды летели так медленно, что казалось их можно было догнать, слегка ускорив шаг. Звук снаряда почему-то больше всего напоминал свист едущего на велосипеде человека, Самый зловещий звук, несмотря на малые размеры, издавали минометы. Их снаряд представлял собой нечто вроде крылатой торпеды, величиной с литровую бутылку, похожей на стрелки с оперением, которые бросают в цель в кабачках. Металлический скрежет выстрела наводил на мысль о дья-

вольской кузнице, в которой ударяют по наковальне с чудовищной глыбой хрупкой стали. Иногда над нами пролетали самолеты и сбрасывали воздушные торпеды, от взрыва которых ходуном ходила земля в радиусе нескольких километров. Разрывы фашистских зениток метили небо маленькими облачками, какие можно увидеть на скверных акварелях, но ни разу они не приближались к самолету даже на тысячу метров. Когда на вас пикирует самолет, поливая позицию пулеметным огнем, внизу слышится будто биение крыльев гигантской птицы.

На нашем участке фронта было затишье. В двухстах метрах вправо от позиции, где фашисты занимали господствующую высоту, их снайперам удалось подстрелить несколько наших товарищей. Влево от нас, даже на расстоянии метров в 200, на мосту через ручей шла своеобразная дуэль между фашистскими минометчиками и бойцами, соорудившими цементную баррикаду поперек моста. Маленькие хищные мины со свистом пролетали по воздуху и — звинг-бум! звинг-бум! Разрывы мин были оглушительны вдвойне, когда они рвались на асфальтированной дороге. В сотне метров от места взрыва можно было стоять в полной безопасности, глядя на фонтаны земли и черного дыма, тянувшиеся кверху, как волшебные деревья. Бедняги-солдаты, строившие баррикаду, большую часть дня отсиживались в лисьих норах, вырытых в стенах траншей. Но жертв было меньше, чем можно было ожидать, и баррикада неуклонно росла, превращаясь в цементную стену толщиной более чем в полметра с амбразурами для двух пулеметов и небольшой полевой пушки. Цемент, за неимением другого железа, армировался старыми кроватями.

## 7

Как-то вечером Бенжамен сказал, что ему нужно пятнадцать добровольцев. Было решено провести на фашистскую позицию атаку, которая была отменена в прошлый раз. Я смазал маслом мой десяток мексиканских патронов, покрыл слоем грязи штык винтовки (чтобы, поблескивая, он не выдал нас врагу), запаковал краюху хлеба, кусок красной колбасы и давно припасенную сигару, которую жена прислала мне из Барселоны. Гранат выдали по три штуки на человека. Испанское правительство сумело наконец, наладить производство приличных гранат. Она действовала по принципу гранаты Миллса, но имела не одну чеку, а две. Граната взрывалась через семь секунд после того, как вырывали обе чеки, одна из которых выходила слишком туго, а вторая — очень легко. Это был главный недостаток гранаты. У нас был выбор: оставить обе чеки на месте, рискуя тем, что в нужный момент тугая заест, либо вырвать ее заранее и ходить в постоянном страхе, что граната взорвется в кармане. Но все же это была довольно неплохая граната.

Около полуночи Бенжамен повел пятнадцать человек вниз, к горе Фабиан. С вечера непрерывно лил дождь. Оросительные каналы переливались через край, и стоило оступить, как вы оказывались по пояс в воде. В полной темноте, под проливным дождем притаилась темная масса людей. Копп обратился к нам сначала по-испански, а потом по-английски, разъяснив план атаки. Фашистские укрепления на этом участке были вытянуты в форме буквы Г. Нам предстояло взять штурмом бруствер, построенный на возвышенности у сгиба линии. Примерно тридцать человек, половина испанцев и половина англичан, во главе с командиром нашего батальона Хорге Рока (батальон ополчения насчитывал около 400 человек), и Бенжаменом должны были подползти к фашистским окопам и перерезать проволоку. Потом Хорге бросит первую гранату. По этому сигналу мы закидаем фашистов градом гранат, и не давая им опомниться, захватим окопы. Одновременно семьдесят бойцов Ударного батальона атакуют другую фашистскую «позицию», лежащую в двухстах метрах вправо от нас и соединенную с первой траншеей связи. Чтобы мы не перестреляли друг друга в темноте нам выдадут белые нарукавные повязки. В этот момент прибыл вестовой и доложил, что повязок нет. Раздался чей-то жалобный голос из темноты: «Пусть тогда фашисты наденут повязки».

Ждать оставалось час или два. Сенювал над стойлом для мулов был так разбит снарядами, что ходить по нему в потемках было невозможно. Половина пола была вырвана и недолго было свалиться с шестиметровой высоты на камни. Кто-то разыскал лом, вывернул из пола разбитые доски, и через несколько минут мы сидели вокруг костра, подсушивая мокрую одежду. Один из бойцов вытащил колоду карт. Разошелся слух — один из тех таинственных слухов, которыми полнится война, — что будут раздавать горячий кофе с коньяком. Мы ринулись вниз по разваливающейся лестнице и стали бродить по двору, выпрашивая в темноте, где дают кофе. Увы!



Никакого кофе не было. Вместо этого нас собрали, построили в ряд, и мы зашагали вслед за Хорге и Бенжаменом, заторопившимися в ночь.

Все еще шел дождь и, не было видно ни зги, но ветер утих. Непролазная грязь. Тропинка, шедшая через свекольное поле, превратилась в сплошное месиво грязи, по которому наши ноги скользили, как по смазанному жиром столбу. Прежде чем мы добрались до исходной позиции, каждый из нас несколько раз упал, винтовки покрылись слоем грязи. В окопах ждала кучка людей — наш резерв и врач у выложенных в ряд носилок. Мы пролезли через брешь в бруствере и бултыхнулись в очередной оросительный канал. Снова вода по пояс, снова хлюпанье скользкой грязи в башмаках. Хорге ожидал на траве, пока мы все не выберемся из окопа. Потом, согнувшись в три погибели, он начал медленно красться вперед. Фашистский бруствер был от нас примерно в ста пятидесяти метрах, мы могли добраться незамеченными только передвигаясь совершенно бесшумно.

Я шел впереди вместе с Хорге и Бенжаменом. Пригнувшись до самой земли, но с поднятым лицом, мы двигались почти в полной темноте, причем, по мере приближения к цели, шаги наши делались все медленней и медленней. Дождь не сильно хлестал по нашим лицам. Оглядываясь назад, я видел ближайших ко мне бойцов — горбатые тени, напоминавшие большие черные грибы, медленно скользили вперед. Но каждый раз, как только я приподнимал голову, мой сосед Бенжамен яростно шептал мне в ухо: «Голову вниз! Голову вниз!» Я мог бы ему ответить, что беспокоиться нет нужды, зная по опыту, что в темную ночь нельзя увидеть человека на расстоянии двадцати шагов. Значительно важнее было идти тихо. Услышь нас фашисты, им достаточно было бы нажать на гашетку пулемета, чтобы обратить нас в бегство или перестрелять всех до одного.

Но идти тихо по размокшему грунту было почти невозможно. Как мы ни старались, наши ноги вязли в грязи и каждый шаг сопровождался хлюпаньем. На беду ветер стих и, несмотря на дождь, стояла совсем тихая ночь. Звуки разносились далеко. Вдруг я пнул консервную банку и в ужасе подумал, что все фашисты в округе слышали меня. Но нет, ни звука, ни выстрела, ни движения в фашистских окопах. Мы продолжали красться, с каждым шагом все медленнее. Я не могу передать всю глубину моего желания попасть наконец туда. Лишь бы только добраться до места, откуда можно швырнуть гранату, прежде чем нас услышат. В такие минуты страх отступает, — остается лишь отчаянное, безнадежное стремление преодолеть отделяющее от противника пространство. Я испытывал подобное чувство на охоте, то же мучительно страстное желание подобраться на выстрел, та же кошмарная уверенность, что это невозможно. А как удлиняется расстояние! Я хорошо знал местность, нам нужно было пройти меньше ста пятидесяти метров, но казалось, что это целая миля. Ползя так медленно, ощущаешь, должно быть, подобно муравью, бесконечное разнообразие земли: вот чудесный клочок гладкой травы, потом отвратительный ком вязкой грязи, высокий шуршащий камыш, который нужно обогнуть, горка камней, возле которой теряешь надежду проползти бесшумно.

Мы ползли уже целую вечность, и мне начало казаться, что мы заблудились, как вдруг в темноте показались едва заметные параллельные полоски. Это была наружная ограда из колючей проволоки (у фашистов две линии заграждения). Хорге встал на колени, пошарил в карманах. Единственные наши ножницы для резки проволоки

были у него. Хруп, хруп. Мы осторожно оттянули в стороны концы проволоки. Теперь надо было ждать тех, кто подтягивался вслед за нами. Казалось, что они поднимают ужасный шум. До фашистского бруствера оставалось не более пятидесяти метров. И снова вперед, пригнувшись к земле. Медленно поднимаешь ногу, потом опускаешь ее на землю неслышно, как кот, подбирающийся к мышинной норе; прислушиваешься, ждешь, потом другая нога. Раз я поднял голову. Бенжамен молча положил ладонь на мою шею и сильно надавил. Я знал, что внутреннее проволочное ограждение натянуто всего в двадцати метрах от бруствера. Мне казалось невероятным, чтобы тридцать человек могли добраться до него незамеченными. Ведь одного дыхания достаточно, чтобы выдать нас с головой. И все же мы добрались. Фашистский бруствер уже виден, высоко нависшая над нами черная насыпь. Хорге снова стал на колени, повозился. Хруп, хруп. Бесшумно эту штуку не разрежешь.

Теперь и внутреннее ограждение позади. Мы ползем на четвереньках, пожалуй немного быстрее чем прежде. Если у нас будет время рассредоточиться вдоль траншеи, тогда все в порядке. Хорге и Бенжамен отползают вправо. Теперь наши бойцы должны один за другим пролезать через узкую дыру в проволочном ограждении. И в этот момент на фашистском бруствере сверкнул огонь и грохнул первый выстрел. Часовой наконец-то нас услышал. Хорге привстал на колени и широким движением метнул гранату. Она взорвалась где-то на бруствере. Сразу же, гораздо быстрее, чем можно было ожидать, с фашистского бруствера ударило десять или двадцать винтовок. Итак, они нас ждали. Мгновенно в мертвенно-бледном свете стали видны все мешки с песком. Бойцы, не успевшие подползти ближе, кидали гранаты и некоторые из них взрывались, не долетая до бруствера. Казалось, что каждая амбразура извергает струи огня. Всегда очень неприятно оказаться под огнем в темноте. Кажется, что каждая вспышка винтовочного выстрела предназначена для тебя. Но хуже всего — гранаты. Вам не понять этого ужаса, если вы не видели, как она рвется возле вас в темноте. Днем слышен лишь грохот взрыва, а в темноте к нему прибавляется ослепительная красная вспышка. Я кинулся на землю после первого залпа. Все это время я лежал в слизкой грязи на боку и яростно боролся с чекой гранаты. Эта дьявольская штука ни за что не хотела вылезать. Наконец я понял, что тяну не в ту сторону. Я выдернул чеку, швырнул гранату и снова кинулся на землю. Граната взорвалась, не долетев до бруствера; испуг помешал мне прицелиться как следует. В этот момент прямо передо мной взорвалась граната, так близко, что я почувствовал жар взрыва. Распластавшись на земле, я так сильно вдавил свое лицо в грязь, что шея заболела и я решил, что меня ранило. Сквозь грохот я услышал голос англичанина, спокойно сказавшего: «Я ранен». Граната действительно ранила нескольких человек, не задев меня. Я привстал на колени и снова бросил гранату, не заметив куда она попала.

Фашисты стреляли, наши сзади стреляли, и я очень ясно сознавал, что нахожусь между двух огней. Я почувствовал выстрел над самым ухом и понял, что боец находится прямо позади меня. Я приподнялся и заорал: «Не стреляй в меня, болван!» В этот момент я увидел Бенжамена, находившегося в десяти-пятнадцати метрах и махавшего мне рукой. Я побежал к Бенжамену. Для этого нужно было пересечь линию плевавшихся огнем амбразур, и я бежал, приложив левую руку к щеке; идиотский жест — как если бы рука могла остановить пулю, по я чертовски боялся ранения в лицо. Бенжамен с довольной, зловещей улыбкой на лице, стоял на одном колени и

тщательно целясь, стрелял из своего пистолета по винтовочным вспышкам. Хорге был ранен первым залпом и лежал где-то в укрытии. Я стал на колени возле Бенжамена, выдернул чеку из моей третьей гранаты и метнул ее. Здорово! На этот раз сомнения не было. Граната взорвалась за бруствером, в том углу, где стоял пулемет.

Фашистский огонь внезапно ослаб. Бенжамен вскочил на ноги и крикнул «Вперед! В атаку!» Мы кинулись по невысокому крутому склону, увенчанному бруствером. Я сказал «кинулись», но правильнее было бы сказать «поплелись». Впрочем, трудно двигаться быстро, если ты промок и вымазан с головы до ног грязью, в руке тяжелая винтовка со штыком и сто пятьдесят патронов. Я был уверен, что на бруствере меня поджидает фашист. Если он выстрелит, то на таком расстоянии промах невозможен, но почему-то я ждал не выстрела, а именно удара штыком. Я представлял себе, как скрещиваются наши штыки и думал: чья рука окажется сильнее? Но никто меня не ждал. С неясным чувством облегчения я увидел низкий бруствер и мешки с песком, по которым удобно было карабкаться наверх. Обычно через них трудно перелезть. Внутри все было разнесено вдребезги, всюду валялись бревна и куски черепицы. Наши гранаты разрушили все строения и блиндажи. Но вокруг по-прежнему не было ни живой души. Я подумал, что они притаились где-то под землей и крикнул по-английски (все испанские слова вдруг вылетели у меня из головы): «Вылезайте! Сдавайтесь!» Никакого ответа. Вдруг человек, в сумерках он казался тенью, скользнул по крыше разбитой хижины и метнулся влево. Я кинулся за ним, без толку тыкая штыком в темноту. Обезжав хижину я увидел человека, не знаю был ли это тот же самый, которого я заметил раньше, убегавшего вдоль траншеи, что вела к соседней фашистской позиции. Должно быть я почти догнал солдата, ибо видел его очень четко. Он был без шапки и видимо совсем голый, если не считать одеяла, которое натягивал на плечи. Если бы я выстрелил, его разнесло бы на куски. Но опасаясь, чтобы мы не перестреляли друг друга нам не приказали стрелять в фашистских окопах, а бить только штыком. Впрочем, я и не думал стрелять. В моей памяти вдруг всплыла картинка двадцатилетней давности: учитель бокса в школе показывает, как он поразил штыком турка в Дарданеллах. Я ухватился за конец приклада и сделал выпад, целясь в спину бегущего. Не достал. Еще выпад, и снова напрасно. Так мы бежали, он вдоль траншеи, а я поверху, тыкая его в лопатки и не доставая. Теперь мне это кажется комичным, но думаю, что ему тогда было не до смеха.

Солдат, конечно, знал место лучше меня и вскоре исчез. Когда я вернулся, захваченная позиция была полна народа. Стрельба немного ослабла. Фашисты все еще поливали нас с трех сторон сильным огнем, но теперь нас разделяло большее расстояние. До поры до времени позиция была в наших руках. Помню, что я с видом оракула изрек: «Мы сможем удержать это место полчаса, не больше». Я и сам не знаю, почему я сказал именно полчаса. Глядя через бруствер направо, можно было увидеть бесчисленные зеленоватые вспышки винтовочных выстрелов, прошивавших темноту. Но они были далеко, в ста или в двухстах метрах. Теперь надо было обшарить позицию и забрать все, что могло пригодиться. Бенжамен вместе с несколькими бойцами рыскали - в развалинах большой хижины или блиндажа посреди позиции. В сильном возбуждении Бенжамен выбрался через разбитую крышу, таща за веревочную ручку ящик боеприпасов.

— Товарищи! Боеприпасы! Полно боеприпасов!

— Нам боеприпасы не нужны, — раздался голос. Нам нужны винтовки.

Это была правда. Половина наших винтовок, залепленных грязью, отказала. Их можно было почистить, но в темноте опасно вытаскивать затвор; положишь куда-нибудь и не найдешь У меня был маленький электрический фонарик, который моя жена ухитрилась найти в Барселоне, другого освещения мы не имели. Несколько человек с исправными винтовками начала беспорядочно стрелять по далеким вспышкам. Но и они не рисковали вести беглый огонь, — даже лучшие из винтовок, разогревшись, могли отказаться. В траншее нас было шестнадцать человек, в том числе один или двое раненых. Несколько раненых, испанцев и англичан, лежали за бруствером. Ирландец из Бельфаста Патрик О'Хара, имевший некоторый опыт в оказании первой помощи, сновал взад и вперед с пакетами бинтов, перевязывая раненых. И каждый раз, когда он лез через бруствер, в него, разумеется, стреляли свои же, хотя он, что было силы, орал: «P.O.U.M.!»

Мы начали осматривать позицию. На земле лежало несколько убитых, но я не стал на них смотреть. Меня интересовал пулемет. Все время, пока мы лежали перед бруствером, я спрашивал себя, почему пулемет не стреляет. Я осветил фонариком в пулеметное гнездо. Горькое разочарование! Пулемета не было. Тренога стояла, валялись ящики с патронами, но пулемета не было. Видимо, они сняли его и унесли, при первом сигнале тревоги. Конечно, они действовали по приказу, но поступили глупо и трусливо. Оставив пулемет на месте, они могли всех нас перестрелять. А мы-то мечтали о трофейном пулемете.

Мы шныряли по всем углам, но ничего ценного не находили. Кругом валялось много фашистских гранат, довольно примитивных. Они взрывались, если потянуть за веревочку. Я положил несколько штук в карман, на память. Нельзя было не удивляться, глядя на нищету фашистских окопов. Здесь не были разбросаны, как у нас, одежда, книги, пища, разные мелкие личные вещи; казалось, что у этих бедных фашистских солдат не было ничего своего, кроме одеял и нескольких кусков тяжелого мокрого хлеба. В дальнем конце стояла маленькая землянка, немного выступавшая над землей, с крохотным окошком. Мы осветили в окно фонарем и у нас вырвался крик восторга. У стены стоял цилиндрический предмет в кожаном футляре, высотой примерно в метр двадцать, имевший около пятнадцати сантиметров в диаметре. Пулеметный ствол! Мы кинулись в землянку, вытащили предмет из футляра и убедились, что это не пулеметный ствол, но вещь еще более ценная для нашей, плохо оснащенной, армии. Это был большой телескоп, думаю шестидесяти- или семидесятикратный, со складной треногой. По нашей стороне фронта таких телескопов не было вообще, и они были нам нужны до зарезу. Мы с триумфом вытащили телескоп и прислонили его к брустверу, чтобы захватить потом с собой.

В этот момент кто-то крикнул, что фашисты приближаются. И действительно, стрельба усилилась. Было, однако, ясно, что фашисты не пойдут на контратаку справа, ибо в этом случае им пришлось бы пересечь ничью землю и штурмовать собственный бруствер. Если у них было хоть на грош здравого смысла, они должны были атаковать нас с тыла. Я пошел на другую сторону позиции. Она напоминала формой подкову, блиндажи находились посередине. Следовательно, слева нас также прикрывал бруствер. Несмотря на сильный огонь с этой стороны, у нас не было потерь. Опасное место находилось прямо впереди нас, там, где не было никакого прикрывтия.

Пули сыпались градом. Стреляли с соседней фашистской позиции, которую бойцам ударного батальона захватить не удалось. Выстрелы слились в оглушающий шум, это был непрекращающийся барабанный грохот массированного ружейного огня, подобный которому я всегда слышал на расстоянии. Теперь я в первый раз оказался в самом его центре. Стреляли по всему фронту. Дуглас Томпсон, держа на весу раненую руку, прислонился к брустверу и стрелял одной рукой по вспышкам вражеского огня. Какой-то боец, отложив свою заевшую винтовку, заряжал винтовку Томпсона.

На этой стороне нас было четверо или пятеро. Мы понимали, что нам следует делать — перетащить мешки с песком с переднего бруствера и забаррикадировать незащищенную сторону, причем сделать это надо было быстро. Фашисты били по-верх наших голов. Но каждую минуту они могли снизить прицел. По вспышкам, возникавшим со всех сторон, я видел, что мы имеем дело с сотней, а то и двумя сотнями фашистов. Мы стали выворачивать из бруствера мешки с песком и перетаскивать их на двадцать шагов вперед, сваливая в кучу. Работёнка была не из легких. Весу в мешках было не меньше центнера и приходилось напрягать все силы, чтобы такой мешок высвободить; потом гнилая мешковина рвалась, и нас обдавало влажной землей, которая набивалась за воротник и в рукава. Я помню, какой ужас наводили на меня хаос, темнота, грохот, скольжение по грязи, борьба с лопающимися мешками. И все время мне мешала винтовка, с которой я не расставался, опасаясь ее потерять. Я даже крикнул кому-то, тащившему вместе со мной мешок: «Ничего себе война! Проклятая штука!» Внезапно через передний бруствер перескочило несколько высоких фигур. Когда они приблизились, мы увидели, что солдаты одеты в форму ударного батальона. Наши радостные крики замолкли, когда мы выяснили, что это не подкрепление, а всего лишь четыре бойца — три немца и испанец. Позднее мы узнали, что случилось с ударным батальоном. Они не знали местности и в темноте батальон завели не туда, куда нужно было. «Ударники» нарвались на колючую проволоку и фашисты перестреляли многих из них. Эта четверка, к счастью для себя, заблудилась. Немцы не знали ни слова ни по-английски, ни по-французски, ни по-испански. С большим трудом, сильно жестикулируя, мы объяснили им, что делаем и уговорили помочь нам.

Фашисты подтащили пулемет. Можно было видеть, как он плюется огнем в сотне или двухстах метрах от нас. Над нашими головами с холодным потрескиванием проходили пули. Довольно быстро мы накидали достаточно мешков с песком, чтобы уложить невысокий бруствер, за который могли залечь и стрелять те несколько человек, что были на этой стороне укрепления. Я приготовился стрелять с колена. Над нами пролетел минометный снаряд и разорвался где-то на ничейной земле. Это была новая опасность, но, прежде чем они нас нащупают, пройдет еще несколько минут. Теперь, когда мы закончили схватку с этими проклятыми мешками, с песком, все, что происходило вокруг можно, было воспринимать и как некую забаву; звуки, темнота, приближающиеся вспышки, наши бойцы, отвечающие на эти вспышки огоньками выстрелов. Было даже время немного поразмыслить. Я, помнится, спросил себя, испытываю ли я чувство страха, и решил, что нет.

Снаружи, где я, видимо, был в меньшей опасности чем здесь, меня трясло от страха. Вдруг снова закричали, что фашисты подходят. На этот раз сомнения не было, вспышки выстрелов значительно приблизились. Я увидел вспышку всего метрах в

двадцати от нас. Было ясно, что они пробираются вдоль траншеи. На таком расстоянии можно было уже бросать гранаты. Все мы, восемь или девять человек, сидели тесно прижавшись друг к другу и одна удачно брошенная бомба могла разорвать нас на куски. Боб Смайли, обливаясь кровью, которая текла из маленькой раны на лице, привстал на колени и швырнул гранату. Мы пригнулись, ожидая взрыва. Фитиль прочертил красную дугу в воздухе, но граната не взорвалась (не взрывалось, по меньшей мере, четверть всех брошенных гранат). У меня остались только фашистские гранаты, которым я не очень доверял. Я крикнул, нет ли у кого лишней гранаты. Дуглас Мойль пошарил в кармане и передал мне одну. Я бросил гранату, а сам кинулся плашмя на землю. По счастливой случайности, которая бывает раз в год, я угодил точно в то место, в котором видел вспышку выстрела. Раздался взрыв, и сразу же потом — вопли и стоны. Хоть одного мы задели наверняка. Не знаю убил ли я его, но безусловно тяжело ранил. Бедняга! Услышав стон фашиста, я почувствовал к нему что-то вроде сочувствия. Но в этот момент, в тусклом свете винтовочных вспышек, я увидел или мне показалось, что я увидел фигуру, стоящую возле того места, где вспыхнул выстрел. Я вскинул винтовку и нажал спуск. Новый вопль, но думаю, что это был все еще результат взрыва гранаты. Мои товарищи швырнули еще несколько бомб. Теперь мы увидели вспышки выстрелов метрах в ста от нас, а то и больше. Значит, мы их отогнали, во всяком случае временно.

Все стали ругаться и допытываться, почему, черт возьми, не присылают подкрепления. Будь здесь автомат или двадцать бойцов с исправными винтовками, мы смогли бы держать эту позицию против батальона. В этот момент Падди Донован, заместитель Бенжамена, посланный в тыл за диспозицией, перелез через передний бруствер.

— Эй! Вылезайте! Отступаем!

— Что?

— Отходить! Сматывайся отсюда!

— Почему?

— Приказ. На старую позицию, мигом. Бойцы уже перелезли через передний бруствер. Несколько из них возились с тяжелым ящиком для боеприпасов. Я вспомнил о телескопе, оставленном у бруствера на другой стороне позиции. Но в этот момент я увидел, что четверо бойцов ударного батальона, выполняя какой-то таинственный, им одним известный приказ, кинулись в соединительную траншею, которая вела к соседней фашистской позиции. Они бежали навстречу верной смерти, быстро исчезая в темноте. Я бросился за ними, стараясь вспомнить как по-испански говорят «отступить». Наконец я заорал: *Atrás! Atrás!*, что, видимо, правильно передавало смысл. Испанец понял и вернул всех обратно. Падди ждал у бруствера.

— Давай, скорее.

— Да, но телескоп!

— Нас... на твой телескоп! Бенжамен ждет снаружи.

Мы перелезли через бруствер. Падди держал проволоку, пока я пролезал через заграждение. Едва мы покинули прикрытие фашистского бруствера, как оказались под шквальным огнем, окружавшим нас со всех сторон. Стреляли, разумеется, и наши бойцы, огонь велся вдоль всей линии фронта; мы кружили в темноте, как заблудившееся стадо овец. К тому же мы волокли трофейный ящик с боеприпасами,

в который входит 1750 обойм, весивший килограммов пятьдесят, ящик с гранатами и несколько фашистских винтовок. Хотя расстояние от фашистского бруствера до нашего не превышало двухсот метров и большинство из нас хорошо знало местность, мы почти сразу же заблудились. Мы скользили по грязи, зная наверняка только одно, — что в нас стреляют с обеих сторон. Луны не было, но небо начало понемногу сереть. Наша позиция лежала к востоку от Хуэски; я предложил подождать первого рассветного луча, и определить, где восток, а где запад; но все остальные были против. Мы продолжали месить грязь, то и дело меняя направление, по очереди таща ящик с боеприпасами. Наконец, мы увидели впереди низкую приплюснутую полосу бруствера. Это мог быть наш, но с таким же точно успехом — и фашистский бруствер. Никто из нас не имел ни малейшего понятия, куда мы пришли. Бенжамен подполз на животе по высокому камышу на двадцать метров до бруствера и окликнул часового. В ответ гаркнули «Р.О.У.М.». Мы повскакали на ноги, перелезли через бруствер еще раз окунулись в оросительную канаву — буль-буль! — и оказались, наконец, в безопасности.

За бруствером нас уже ждали Копп и несколько испанцев. Доктор и санитары ушли. Всех раненых, видимо, уже унесли, не хватало только Хорге и одного из наших бойцов по фамилии Хидлстоун. Копп, очень бледный, расхаживал взад и вперед, даже жирные складки на его затылке побледнели. Не обращая никакого внимания на пули, посвистывающие над самой его головой, Копп бормотал: «Хорге! *Cogño!* Хорге». А потом по-английски: «Если Хорге погиб — это ужасно, ужасно!» Хорге был его личным другом и одним из его лучших офицеров. Внезапно он повернулся к нам и вызвал пятерых добровольцев — двух англичан и трех испанцев — пойти поискать пропавших бойцов. Вместе с тремя испанцами вызвались идти Мойль и я.

Когда мы выбрались наружу, испанцы начали бормотать, что становится опасно — слишком светло. И действительно, небо стало пепельно-голубым. С фашистской позиции до нас доносились возбужденные голоса. Видимо их теперь там было значительно больше, чем раньше. Когда мы были в шестидесяти или семидесяти метрах от фашистского бруствера, они нас услышали или увидели, мощный залп заставил нас броситься плашмя на землю. Кто-то из фашистов швырнул гранату через бруствер — верный признак паники. Мы лежали в траве, ожидая когда можно будет двинуться вперед. Вдруг мы услышали или нам показалось — я не сомневаюсь, что это была чистая игра воображения, но тогда она представлялась вполне реальной, — что голоса фашистов слышны значительно ближе, чем раньше. Они покинули бруствер и направляются к нам. «Беги!» крикнул я Мойло и вскочил на ноги. Боже мой, как я бежал! Еще совсем недавно, той же ночью, я подумал, что невозможно бежать, будучи облепленным с головы до ног грязью, таща на себе винтовку и патроны. Теперь я обнаружил, что человек способен мчаться во все лопатки в любых условиях, если он думает, что за ним гонятся пятьдесят или сто вооруженных врагов. На бегу я почувствовал, что возле меня как бы пролетел рой метеоритов. Это меня обогнали три испанца. Они остановились лишь у самого бруствера, где я их и догнал. Дело, конечно, было в том, что наши нервы совсем сдали. Я знал, что в предрассветной мгле один человек может незаметно пробраться там, где пятеро не пройдут. Я добрался до наружной проволоки и обшарил местность так тщательно, как мог, но все же не очень основательно, ибо весь путь пришлось проделать ползком. Позднее мы узнали,

что и Хорге и Хидлстоун были доставлены на, перевязочный пункт. Хорге отделался легким ранением в плечо, а Хидлстоун получил ужасную рану — пуля прошла через правую руку, поломав в нескольких местах кость; когда он лежал беспомощный на земле, рядом с ним разорвалась граната, поразившая его многочисленными осколками. К счастью, Хидлстоун выжил. Позднее он рассказал мне, что прополз некоторое расстояние на спине, а потом уцепился за раненого испанца и они, помогая друг другу, добрались до своих.

Светало. На фронте, на много миль вправо и влево от нас продолжалась беспорядочная стрельба, напоминавшая дождик, закапавший вдруг уже после того, как отбушевала буря. Какое унылое это было зрелище: лужи грязи, плакучие тополя, желтая вода в окопах; такими же несчастными выглядели бойцы с измученными лицами, небритые, в грязи с головы до ног, закопченные до самых глаз. Когда я добрался до землянки, три моих товарища уже крепко спали. Они кинулись на землю в полном обмундировании, прижав к груди грязные винтовки. Наша землянка насквозь отсырела. Я умудрился, после долгих поисков, набрать кучу сухих щепок и развести маленький огонек. Потом я закурил заветную сигару, которая, к моему удивлению, не поломалась в течение ночи.

Позже мы узнали, что наша атака удалась. Это был всего-навсего рейд с целью оттянуть силы фашистов с участка в районе Хуэски, где наступали анархисты. Я считал, что фашисты бросили против нас сто или двести человек, но дезертир рассказал нам позднее, что их было шестьсот. Думаю, что он лгал. Дезертиры, по понятным причинам, часто стараются завоевать расположение ложью. Очень жаль было телескопа. Мысль о том, что я упустил такой великолепный трофей, не дает мне покоя и по сей день.



## 8

Дни становились жарче, и даже ночью было сравнительно тепло. На расщепленной пулями вишне, стоявшей возле нашего бруствера, начали завязываться густые гроздья ягод. Купание в реке перестало быть мучением и превратилось в удовольствие. Дикие розы с бутонами величиной с блюдце покрыли изрытые воронками поля вокруг Торре Фабиан. За линией фронта можно было встретить крестьян с дикой розой за ухом. По вечерам они выходили с зелеными сетями на ловлю перепелов. Крестьяне раскидывали сеть на траве, ложились на землю и кричали, подражая самочке-перепелке. Все самцы, находившиеся поблизости, слетались на крик. Когда перепела оказывались под сетью, ловец кидал камень, чтобы их вспугнуть, птицы взлетали и запутывались в сети. Ловят, видимо, только самцов, и это показалось мне несправедливым.

Соседний участок занимал отряд андалузцев. Я не знаю точно, как они попали на этот фронт. Злые языки твердили, что они бежали из Малаги так быстро, что забыли остановиться возле Валенсии. Но так злословили каталонцы, считающие андалузцев расой полуварваров. Андалузцы действительно были людьми темными. Лишь немногие из них умели читать и они не знали той единственной вещи, которую в Испании знал всякий — к какой политической партии они принадлежали. Андалузцам казалось, что они анархисты, но они и в этом не были уверены до конца; возможно они были коммунистами, эти грубоватые, крестьянского вида люди, пастухи или батраки с оливковых плантаций, с лицами, обгоревшими на жестоком солнце далекого юга. Оказалось, что андалузцы могут принести нам большую пользу — они умели мастерски сворачивать высушенный испанский табак в сигарки. Сигареты перестали выдавать, но иногда нам удавалось купить в Монфлорите пачку самого дешевого табака, который на вид и на ощупь напоминал рубленную солому. Запах у него был неплохой, но сухие стебли никак не удавалось завернуть в бумагу, а если кто и ухитрялся смастерить самокрутку, то табак сразу же высыпался, а в руке оставалась пустая бумажная трубочка. Андалузцы умудрялись каким-то образом крутить великолепные сигарки, ловко подворачивая концы бумаги.

Двое англичан свалились от солнечного удара. То время памятно мне жарой полуденного солнца; я помню тяжесть мешков с песком, которые я таскал, раздевшись до пояса, на обгоревшем от солнца плече; развалившуюся одежду и обувь, падавшую с нас кусками. Нам приходилось вступать в схватки с мулом, развозившим еду; он не боялся винтовочной стрельбы, но убегал, услышав звук рвущейся шрапнели. Донимали москиты, только начавшие свои налеты, крысы, обнаглевшие до того, что они пожирали кожаные пояса и патронташи. Ничего не происходило, если не считать случайных жертв фашистского снайпера, жидкого артиллерийского обстрела или воздушных налетов на Хуэску. Деревья покрылись густой листвой и мы соорудили на тополях, окаймлявших линию фронта, платформы для снайперов, похожие на

шалаша, какие строят охотники. По другую сторону Хуэски наступление выдыхалось. Анархисты понесли тяжелые потери и не сумели полностью перерезать дорогу на Яку. Им удалось придвинуться к дороге настолько, чтобы держать ее под пулеметным огнем и не пропускать машин, но фашисты воспользовались километровой щелью и соорудили в огромной траншее объездную полуподземную дорогу, по которой шли туда и обратно грузовики. Дезертиры сообщали, что в Хуэске очень много боеприпасов, но не хватает продовольствия. Однако город сдаваться не собирался. Хуэску, вероятно, не удалось бы взять штурмом, имея пятнадцать тысяч плохо вооруженных бойцов. Позднее, в июне правительство перебросило с Мадридского фронта свежие силы, сконцентрировав под Хуэской тридцать тысяч человек и огромное количество самолетов, но город взять все же не удалось.

Я уехал в отпуск, пробыв на фронте сто пятнадцать дней, — наиболее бесполезных, как мне тогда казалось, дней моей жизни. Я вступил в ополчение, чтобы драться в фашизм, но воевать мне, по существу, так и не пришлось. Я всего лишь влачил существование как некий пассивный объект, получая довольствие взамен за ничего-неделанье, если не считать того, что я страдал от холода и нехватки сна. Возможно, такова участь всех солдат на большинстве войн. Теперь, однако, оглядываясь назад, я уже не сожалею о потраченном времени. Мне хотелось бы, правда, больше сделать для испанского правительства; но с точки зрения моего личного развития, эти первые три-четыре месяца, проведенные на фронте, были совсем не такими бесполезными, как я думал тогда. Я прожил несколько месяцев, совершенно непохожих на мою прежнюю жизнь, и, пожалуй, на мою будущую, и научился вещам, которых иначе никогда бы не познал.

Главное заключалось в том, что все это время я находился в полной изоляции, — на фронте чувствуешь себя совершенно отрезанным от внешнего мира: даже о событиях в Барселоне мы имели лишь смутное представление, — среди людей, которых можно, пусть не совсем точно, назвать революционерами. Способствовала ополченская система, сохранившаяся на Арагонском фронте почти без изменений до июня 1937 года. Рабочее ополчение, сформированное профсоюзами и объединявшее людей, имевших приблизительно одинаковые политические взгляды, позволило собрать в одном месте наиболее революционный элемент страны. Более или менее случайно я попал в единственный во всей Западной Европе массовый коллектив, в котором политическая сознательность и неверие в капитализм воспринимались как нечто нормальное. На Арагонском фронте я находился среди десятков тысяч людей, в большинстве своем — хотя не исключительно — рабочих, живших в одинаковых условиях, на основах равенства. В принципе, это было абсолютное равенство, почти таким же было оно и на деле. В определенном смысле это было неким предвкушением социализма, вернее мы жили в атмосфере социализма. Многие из общепринятых побуждений — снобизм, жажда наживы, страх перед начальством и т. д. — просто-напросто исчезли из нашей жизни. В пропитанном запахом денег воздухе Англии нельзя себе даже представить, до какой степени исчезли на фронте обычные классовые различия. Здесь были только крестьяне и мы — все остальные. Все были равны. Конечно, такое положение не могло сохраняться долго. Это был лишь непродолжительный и местный эпизод гигантской игры, ареной которой служит вся земля. Но этот эпизод продолжался достаточно долго, чтобы наложить свой отпечаток на

всех, кто в нем участвовал. Как бы мы в то время ни проклинали всех и вся, позднее мы поняли, что соприкоснулись с чем-то необычным и в высшей степени ценным. Мы жили в обществе, в котором надежда, а не апатия или цинизм, были нормальным состоянием духа, где слово «товарищ» действительно означало товарищество и не применялось, как в большинстве стран, для отвода глаз. Мы дышали воздухом равенства. Я хорошо знаю, что теперь принято отрицать, будто социализм имеет что-либо общее с равенством. Во всех странах мира многочисленное племя партийных аппаратчиков и вкрадчивых профессоришек трудится, «доказывая», что социализм, это всего-навсего плановый государственный капитализм оставляющий в полной сохранности жажду наживы как движущую силу. К счастью, существует и совершенно иное представление о социализме. Идея равенства — вот, что привлекает рядовых людей в социализме, именно за нее они готовы рисковать своей шкурой. Вот в чем «мистика» социализма. Для подавляющего большинства людей — социализм означает бесклассовое общество. Без него нет социализма. Вот почему так ценны были для меня те несколько месяцев, что я прослужил в рядах ополчения. Испанское ополчение, пока оно существовало, было ячейкой бесклассового общества. В этом коллективе, где никто не стремился занять место получше, где всего всегда не хватало, но не было ни привилегированных, ни лизоблюдов, — возможно, было предвкушение того, чем могли бы стать первые этапы социалистического общества. И в результате, вместо того, чтобы разочаровать, социализм по-настоящему привлек меня. Теперь, гораздо сильнее, чем раньше, мне хочется увидеть торжество социализма. Возможно, это частично объясняется тем, что я имел счастье оказаться среди испанцев, чья врожденная честность и никогда не исчезающий налет анархизма, могут сделать приемлемыми даже начальные стадии социализма.

Конечно, в то время я еще не сознавал перемен, происходящих в моем мышлении. Как и все вокруг меня, я ощущал прежде всего скуку, жару, холод, грязь, вшей, лишения, время от времени — опасность. Теперь все выглядит иначе. Теперь тот период, казавшийся таким бесполезным и скучным, приобрел для меня большое значение. Он настолько непохож на прожитую мной ранее жизнь, что приобрел те волшебные свойства, которые обычно выпадают на долю воспоминаний о событиях многолетней давности. Пока описанные мною события длились, было чертовски трудно, но зато теперь мой мозг имеет отличную пищу для размышлений. Мне бы очень хотелось передать вам атмосферу того времени. Надеюсь, что в какой-то степени мне удалось это сделать в предыдущих главах книги. В моей памяти все пережитое связано с зимним холодом, обтрепанной формой ополченцев, овальными испанскими лицами, телеграфным постукиванием пулеметных очередей, запахом мочи и стгнившего хлеба, жестяным вкусом фасолевого похлебки, жадно выхватываемой из грязных мисок.

Весь этот период я вижу с удивительной отчетливостью. Я снова мысленно переживаю события, казалось бы слишком мелкие, чтобы их помнить. Я снова в землянке на Монте Почеро, я лежу на выступе известняка, служащем постелью, а молодой Рамон посапывает, уткнувшись носом мне в лопатки. Я бреду по грязной траншее, в тумане, который клубится, как холодный пар. Я ползу по склону горы, стараюсь удержаться, хватаюсь за корень дикого розмарина. Надо мной посвистывают случайные пули.

Я лежу, укрывшись среди маленьких елочек, в ложине западнее Монте Оскуро. Рядом Копп, Боб Эдварде и три испанца. Справа от нас по голому серому склону холма взбирается цепочка фашистов, напоминающих муравьев. Совсем недалеко от нас раздается сигнал фашистского горна. Копп, поймав мой взгляд, мальчишеским жестом показывает фашистам нос.

Я посередине двора в Ла Гранхе. Толпа бойцов лезет со своими мисками к котлу с тушенкой. Толстый измученный повар отгоняет их половником. Рядом за столом бородатый человек с большим автоматическим пистолетом за поясом, пилит буханку хлеба на пять частей. За моей спиной голос с акцентом «кокни» лондонских окраин (Билл Чамберс, с которым я здорово поругался, позднее убитый под Хуэской) напевает:

Крысы, крысы, крысы,  
Крысы, большие как коты ...

С визгом пролетает снаряд. Пятнадцатилетние ребята кидаются плашмя на землю. Повар ныряет за свой котел. Все встают со сконфуженными лицами, когда снаряд падает и разрывается в ста метрах от нас.

Я патрулирую взад и вперед вдоль нашей позиции, шагаю под темными ветвями тополей. Рядом в канаве, полной воды, плавают крысы, поднимающие шум, что твоя выдра. За спиной начинает желтеть рассвет, и закутанный в свою шинельку часовой-андалузец поет. За ничейной землей, метров сто или двести от нас, поют фашистские часовые.

25 апреля, после обычных обещаний — «маньяна» — завтра, нас сменила другая часть, и мы, сдав винтовки и запаковав заплечные мешки, пошли в Монфлорите. Я без сожаления покидал фронт. Вши в моих брюках размножались гораздо быстрее, чем я успевал их уничтожать. Вот уж месяц, как у меня не было носков, а в ботинках почти не осталось подметки, так что я в сущности вышагивал босиком. Человек, живущий нормальной цивилизованной жизнью, ничего не желает так страстно, как я, мечтавший о горячей ванне, чистой одежде и сне между простынями. Мы поспали несколько часов в сарае в Монфлорите, еще до рассвета прыгнули в попутный грузовик, успели на пятичасовой поезд в Барбастро, захватили, к счастью, скорый поезд в Лериде, и 26 апреля в три часа дня приехали в Барселону. Здесь-то и начались настоящие неприятности.

## 9

Из Мандалая (Верхняя Бирма) вы можете доехать поездом в Маймио, главную горную станцию провинции, на краю Шанского плоскогорья. Впечатление необычное. Вы покидаете типичный восточный город — палящее солнце, пыльные пальмы, запахи рыбы, пряностей, чеснока, налитые соком тропические фрукты, толпа темнолицых людей. А поскольку вы привыкли к этому городу, вы захватываете, так сказать, его климат с собой, в вагон. Когда поезд останавливается в Маймио на высоте тысячи трехсот метров над уровнем моря, мысленно вы все еще находитесь в Мандалае. Но выходя из вагона вы попадаете на другой материк. Внезапно вы вдыхаете студеной сладкий воздух, напоминающий воздух Англии, вы видите вокруг себя зеленую траву, папоротник, ели, краснощеких горянок, продающих корзинки земляники.

Я вспомнил об этом, вернувшись в Барселону после трех с половиной месяцев пребывания на фронте. Вспомнил, потому что пережил такое же чувство внезапного, резкого изменения климата. В поезде, на всем пути в Барселону, сохранялась фронтовая атмосфера: грязь, шум, неудобства, рваная одежда, чувство лишения, товарищества, равенства. На каждой станции в поезд, уже в Барбастро битком набитый ополченцами, лезли крестьяне; крестьяне с пучками овощей, с курами, которых они держали вниз головой, с подпрыгивающими на полу мешками, в которых, оказывается, были живые кролики, наконец солидное стадо овец, занявших все свободные места в купе. Ополченцы горланили революционные песни, а всем встречным красоткам посылали воздушные поцелуи либо махали красными и черными платками. Из рук в руки переходили бутылки вина и аниса, скверного арагонского ликера. Из испанского бурдюка можно послать струю вина прямо в рот приятеля, сидящего в другом конце вагона, что значительно облегчало дела. Рядом со мной черноглазый паренек, лет пятнадцати, рассказывал о своих невероятных, несомненно выдуманных от начала до конца, приключениях на фронте двум разинувшим рты крестьянам с дублеными лицами. Потом крестьяне развязали свои узлы и угостили нас липким темно-красным вином. Все были глубоко счастливы, так счастливы, что трудно передать. Но когда поезд миновал Сабадель и остановился в Барселоне, мы окунулись в атмосферу вряд ли менее чуждую и враждебную по отношению к нам и нам подобным, чем атмосфера Парижа и Лондона.

Всякий, кто во время войны дважды посетил Барселону с перерывом в несколько месяцев, неизменно обращал внимание на удивительные изменения, происшедшие в городе. Любопытно при этом, что и люди, увидевшие город сначала в августе, а потом опять в январе, и те, кто подобно мне побывали здесь сначала в декабре, а затем в апреле, говорили в один голос: революционная атмосфера исчезла. Конечно, тем, кто видел Барселону в августе, когда еще не высохла кровь на улице, а отряды ополчения квартировали в роскошных отелях, город казался буржуазным уже в декабре; но для меня, только что приехавшего из Англии, он был тогда воплощением

рабочего города. Теперь все повернуло вспять — Барселона вновь стала обычным городом, правда слегка потрепанным войной, но утеревшим все признаки рабочей столицы.

До неузнаваемости изменился вид толпы. Почти совсем исчезла форма ополчения и синие комбинезоны; почти все были одеты в модные летние платья и костюмы, которые так хорошо удаются испанским портным. Толстые мужчины, имевшие вид преуспевающих дельцов, элегантные женщины, роскошные автомобили — заполняли улицы. (Владение частными машинами, кажется, еще не было восстановлено, но каждый человек «что-то собой представлявший» мог раздобыть автомобиль). По улицам взад и вперед сновали офицеры новой Народной армии. Когда я уезжал из Барселоны, их еще вообще не было. Теперь на каждые десять солдат Народной армии приходился один офицер. Часть этих офицеров служила раньше в ополчении и была отозвана с фронта для повышения квалификации, но большинство из них были выпускниками офицерских училищ, куда они пошли, чтобы увильнуть от службы в ополчении. Офицеры относились к солдатам, может быть и не совсем так, как в буржуазной армии, но между ними явно определилась сословная разница, выразившаяся в размерах жалованья и в крое одежды. Солдаты носили грубые коричневые комбинезоны, а офицеры — элегантные мундиры цвета хаки со стянутой талией, напоминавшие мундиры английских офицеров, но еще более щегольские. Я думаю, что из двадцати таких офицеров, может быть один понюхал пороху, но все они носили на поясе автоматические пистолеты; мы, на фронте, не могли достать их ни за какие деньги. Я заметил, что когда мы, грязные и запущенные, шли по улице, люди неодобрительно поглядывали на нас. Совершенно понятно, что как и все солдаты, провалявшиеся несколько месяцев в окопах, мы имели жуткий вид. Я походил на пугало. Моя кожаная куртка была в лохмотьях, шерстяная шапочка потеряла всякую форму и то и дело съезжала на правый глаз, от ботинок остался почти только изношенный верх. Все мы выглядели примерно одинаково, а кроме того мы были грязные и небритые. Неудивительно, что на нас глазели. Но меня это немного расстроило и навело на мысль, что за последние три месяца произошли какие-то странные вещи.

В ближайшие же дни я по множеству признаков обнаружил, что первое впечатление не обмануло меня. В городе произошли большие перемены. Два главных факта бросались в глаза. Прежде всего — народ, гражданское население в значительной мере утратило интерес к войне; во-вторых возродилось привычное деление общества на богатых и бедных, на высший и низший классы. Всеобщее равнодушие к войне удивляло и вызывало неприязнь. Оно ужасало людей, приезжавших из Мадрида, даже из Валенсии. Это равнодушие частично объяснялось отдаленностью от фронта; подобное настроение я обнаружил месяц спустя в Таррагоне, жившей почти ничем не нарушенной жизнью модного приморского курорта. Начиная с января число добровольцев по всей Испании стало сокращаться. И это было знаменательно. В феврале в Каталонии первому набору добровольцев в Народную армию сопутствовала волна энтузиазма, которая, однако, не сопровождалась увеличением числа новобранцев. Война продолжалась всего около шести месяцев, а испанское правительство вынуждено было прибегнуть к мобилизации, вещи понятной, когда речь идет о войне за пределами страны, но неестественной в условиях войны гражданской. Без сомне-

ния, это объяснялось тем, что развеялись революционные надежды, появившиеся в начале войны. Члены профсоюзов пошли в ополчение и в первые же недели войны отогнали фашистов к Сарагосе, прежде всего благодаря своей вере в то, что они борются за рабочее государство. Теперь становилось все более очевидно, что дело рабочего контроля проиграно и поэтому нельзя сваливать вину за некоторую меру равнодушия на простой народ, прежде всего городской пролетариат, составлявший основу армии в любой войне, будь то внутри самой страны или за рубежом. Никто не хотел оказаться проигравшим в этой войне, но большинство только и мечтало о том, чтобы война кончилась. Это настроение ощущалось повсеместно. Всюду слышны были нарекания: «Ох, уж эта мне война! Кончилась бы она поскорее». Политически сознательные люди гораздо лучше ориентировались в ходе междоусобицы анархистов и коммунистов, чем в ходе войны с Франко. Народные массы больше всего занимала нехватка продовольствия. «Фронт» представлялся неким мифическим далеким местом, куда отправляются молодые люди, чтобы исчезнуть навсегда, либо возвратиться через три-четыре месяца с карманами полными денег. (Ополченцам обычно выплачивали всю сумму перед самым отпуском). На раненых, даже если они прыгали на костылях, особого внимания никто не обращал. Ополчение вышло из моды. Магазины, чрезвычайно чуткий барометр общественных вкусов, ясно свидетельствовали об этом. Когда я впервые приехал в Барселону, магазины — в ту пору бедные и запущенные — специализировались на ополченском снаряжении. В каждой витрине можно было увидеть военные фуражки, куртки на молнии, портупеи, охотничьи ножи, фляжки, кобуры для револьверов. Теперь магазины выглядели значительно наряднее, но война отступила на задний план. Как я убедился позднее, когда закупал нужные мне вещи перед отъездом на фронт, многие из вещей, без которых никак не обойтись на передовой, вообще нельзя было достать.

А между тем велась систематическая пропаганда, направленная против ополчения различных партий и восхвалявшая Народную армию. Создалось любопытное положение. Теоретически, начиная с февраля, все вооруженные силы были включены в состав Народной армии. На бумаге ополчение стало частью регулярной армии с различным жалованием для солдат и офицеров, с чинами, погонами и т. д. Дивизии формировались из «смешанных бригад», которые должны были состоять из регулярных частей и отрядов ополчения. На деле же изменились только имена. Например, отряды Р.О.У.М., называвшиеся раньше дивизией имени Ленина, теперь назывались 29-й дивизией. До июня на Арагонский фронт прибыло очень мало регулярных частей, в связи с чем ополчению удалось сохранить свою особую структуру и собственный характер. Но на всех стенах уже красовались надписи, сделанные рукой сотрудников правительственного аппарата: «Нам нужна Народная армия!», по радио и коммунистической печати не прекращались иногда очень злобные нападки на ополчение, солдаты которого изображались плохо обученными и недисциплинированными. В конечном итоге, вся эта пропаганда создавала впечатление, что было нечто постыдное в уходе на фронт добровольцем, в то время как ожидание мобилизации заслуживало похвалы и поощрения. А тем временем ополчение держало фронт, давая Народной армии возможность обучаться в тылу. Но об этом старались не говорить и не писать. Отряды ополчения, направлявшиеся на фронты, больше не маршировали по улицам города с барабанным боем и развевающимися знаменами.

Их украдкой увозили поездом или на грузовиках в пять часов утра. Зато с большой помпой проводили по улицам те немногие части Народной армии, которые начали уходить на фронт; но даже их провожали без особого энтузиазма, из-за общего падения интереса к войне. Официальная печать искусно использовала в пропагандных целях тот факт, что ополченцы числились на бумаге частью Народной армии. Все успехи неизменно приписывались Народной армии, а вину за неудачи всегда сваливали на ополчение. Случалось, что одно и то же соединение хвалили, а затем поносили как часть ополчения.

Но кроме всего этого резко изменилась социальная обстановка. Не испытав этого на собственном опыте, трудно понять, что произошло. В первый мой приезд Барселона показалась мне городом, в котором почти совсем исчезли классовые различия и разница в имущественном положении. Шикарная одежда была редкостью, никто не раболепствовал и не брал чаевых, официанты, цветочницы, чистильщики сапог, смотрели вам прямо в глаза и называли «товарищем». Я не понял тогда, что в этом была смесь надежды с одной стороны и притворства с другой. Рабочий класс верил в начатую, но так и не завершённую революцию, а буржуа испугались, временно замаскировавшись под рабочих. В первые месяцы революции было, должно быть, много тысяч людей, которые, напялив комбинезоны, начали скандировать революционные лозунги, чтобы спасти свою шкуру. Теперь все вошло в норму. Шикарные рестораны и отели были полны толстосумов, пожиравших дорогие обеды, в то время как рабочие не могли угнаться за ценами на продукты, резко подскочившими вверх. Кроме дороговизны ощущалась также нехватка всевозможных продуктов, что также было главным образом по бедным, а не по богатым. Рестораны и отели доставали все, что хотели, видимо, без особого труда, в то время как в рабочих кварталах выстраивались длиннющие хвосты очередей за хлебом, оливковым маслом и другими продуктами. В мой первый приезд Барселона поразила меня отсутствием нищих; теперь их здесь развелось великое множество. Возле гастрономических магазинов на Рамблас каждого выходявшего покупателя окружали стаи босоногих мальчишек, пытавшихся выклянчить крохи съестного. Исчезли «революционные» обращения. Теперь незнакомые люди редко говорили друг другу «ты» или «товарищ»; вернулись старые «сеньор» и «вы». «*Buenos dias*» постепенно вытеснило «*Salud*». Официанты снова нацепили свои крахмальные манишки. Я, помнится, вошел с женой в галантерейный магазин на Рамблас, чтобы купить пару носков. Продавцы гнулись в три погибели перед покупателями, они кланялись и потирали руки, как этого не делают теперь даже в Англии, где это было так принято двадцать или тридцать лет назад. Незаметно, украдкой вернулся старый обычай давать на чай. Рабочие патрули были распущены, а на улицах снова появилась довоенная полиция. За этим сразу же последовало открытие кабаре и шикарных публичных домов, многие из которых были в свое время закрыты рабочими патрулями<sup>1</sup>.

Все было направлено теперь на удовлетворение запросов богачей. Приведу незначительный, но знаменательный пример. Не хватало табака. Народ ощущал это так остро, что на улицах продавали сигареты из нарезанного солодового корня. Один раз и я их попробовал. (Многие их пробовали — не более одного раза). Франко захватил

---

<sup>1</sup> По некоторым сведениям рабочие патрули закрыли 75 процентов всех публичных домов.



Канарские острова, где выращивается весь испанский табак. Правительство имело в своем распоряжении лишь запасы, сделанные еще до войны. Они уже были почти совсем исчерпаны, и табачные лавки открывались только раз в неделю. Простояв в очереди несколько часов, вы могли получить — если вам везло — крошечную пачку табака. Официально правительство не разрешало покупать табак за границей, ибо это означало расходование золотого запаса, необходимого для покупки оружия и других насущных товаров. В действительности же контрабандный ввоз дорогих иностранных сигарет, вроде «Лаки страйк», не прекращался. Спекулянты туго набивали кошелек. Вы могли открыто купить контрабандные сигареты в гостиницах и почти так же открыто на улице, если были в состоянии заплатить за пачку десять пезет (дневное жалование ополченца). Богачи пользовались плодами контрабанды, и поэтому ей попустительствовали. Если вы имели достаточно денег, вы могли купить все, что угодно, в любом количестве, разве что за исключением хлеба, который рacionировался сравнительно строго. Этот яркий контраст между богатством и бедностью был невозможен всего несколько месяцев назад, когда рабочий класс был, или казался, у власти. Но было бы несправедливо объяснить все сдвигами в распределении политической власти. Виной тому была в частности безопасность жизни в Барселоне, где почти ничего не напоминало о войне, если не считать редких воздушных налетов. Все, кто побывал в Мадриде, утверждали, что там обстановка совсем иная. Общая опасность рождала у жителей Мадрида чувство товарищества. Толстяк, поедающий перепелку, на глазах у голодных детей, зрелище противное, но у вас меньше шансов увидеть его, когда рядом бьют пушки.

Помню, что через день или два после уличных боев, проходя по одной из фешенебельных улиц, я увидел в витрине кондитерской изысканнейшие торты и пирожные, продававшиеся по невероятно высокой цене. Такую кондитерскую можно увидеть в Лондоне на Бонд-стрит или в Париже на рю де ля Пэ. Я помню, что почувствовал что-то в роде ужаса и удивления, глядя на эту витрину в голодающей стране. Но избавь меня Господь от искушения изображать себя лучше других. После нескольких месяцев фронтовых лишений, я с жадностью набросился на приличную еду, вино, коктейли, американские сигареты. Признаюсь, я не отказывался ни от какой роскоши, разумеется, в пределах моих денежных возможностей. В первую неделю до начала уличных боев, я с головой ушел в несколько занимавших меня дел. Прежде всего, как я сказал выше, я старался ублажить себя, как только мог. Во-вторых, переев и перепив, я прихварывал и всю неделю чувствовал себя неважно. Провалившись в постели пол дня я вставал, съедал солидный обед и снова слегал. Одновременно я вел тайные переговоры, имевшие целью покупку револьвера. Мне был до зарезу нужен револьвер — в рукопашной схватке оружие гораздо более полезное чем винтовка, — а достать его было необычайно трудно. Правительство выдавало револьверы полицейским и офицерам Народной армии, но отказывало в них ополченцам. Приходилось покупать револьверы нелегально, у анархистов, имевших тайные склады. После продолжительной волокиты приятель-анархист ухитрился раздобыть для меня маленький 26-миллиметровый автоматический пистолет, оружие скверное, пригодное лишь для стрельбы в упор. И все-таки это было лучше, чем ничего. Кроме этого, я готовился покинуть ополчение Р.О.У.М. и перейти в другую часть, с тем чтобы попасть на Мадридский фронт.

Уже долгое время я открыто заявлял всем, что собираюсь уйти из Р.О.У.М. Следуя своим личным симпатиям, я охотнее всего пошел бы к анархистам. Записавшись в С.Н.Т., можно было попасть в ополчение F.A.I., но мне сказали, что его вероятнее всего пошлют на Теруэльский, а не на Мадридский фронт. Чтобы попасть в Мадрид надо было вступить в интернациональную бригаду, а для этого необходима была рекомендация члена коммунистической партии. Я отыскал приятеля-коммуниста, служившего в испанских санитарных частях, и рассказал ему о своем деле. Он загорелся и попросил меня, если возможно, убедить еще несколько англичан из I.L.P. перейти вместе со мной в интербригаду. Если бы мое самочувствие в то время было лучше, я скорее всего согласился бы. Вполне возможно, что меня послали бы в Альбасете до того, как в Барселоне начались уличные бои. В этом случае, не будучи очевидцем событий, я, возможно, поверил бы в официальную версию. С другой стороны, если бы я находился во время боев в Барселоне, уже успев перейти под командование коммунистов, я оказался бы в безвыходном положении, — ведь в Р.О.У.М. служили мои фронтовые товарищи. Но у меня еще оставалась неделя отпуска, и мне очень хотелось по-настоящему окрепнуть, прежде чем отправиться на фронт. А кроме того, — такие мелочи, кстати, и определяют судьбу человека, — я ждал пока сапожник сошьет мне новую пару походных ботинок. Я сказал моему другу-коммунисту, что окончательный ответ дам ему попозже. Пока же я хотел отдохнуть. У меня даже возникла мысль, не поехать ли нам с женой на несколько дней на море. Неплохая идея! — Но политическая обстановка таила в себе предостережение. Сейчас было не время для таких прогулок.

Под внешней безмятежной оболочкой тылового города, с его роскошью и растущей беднотой, за его веселыми многолюдными улицами, полными цветочных киосков, многоцветных флагов, пропагандистских плакатов, — за всем этим безошибочно угадывалась ожесточенная политическая борьба и ненависть. Люди самых различных взглядов пророчествовали: «Скоро начнутся беды». Источник опасности был очевиден и прост: борьба между теми, кто хотел двигать революцию вперед, и теми, кто хотел ее задержать или предотвратить, то есть, в конечном счете, между анархистами и коммунистами. Вся политическая власть в Каталонии находилась в руках P.S.U.C. и ее либеральных союзников. Но была еще одна, трудно поддающаяся оценке сила — С.Н.Т., вооруженная хуже противника и менее четко представлявшая свои цели, но зато многочисленная и державшая ключевые позиции в ряде важных отраслей промышленности. При таком соотношении сил столкновение было неминуемым. С точки зрения каталонского правительства, контролируемого P.S.U.C., оно должно было, для укрепления собственной власти, разоружить рабочих — членов С.Н.Т. Как я уже говорил выше, роспуск рабочего ополчения был, в конечном итоге, направлен на достижение именно этой цели. Одновременно были восстановлены, усилены и перевооружены довоенная полиция, гражданская гвардия и тому подобные соединения. Нетрудно было разгадать смысл этих действий. Гражданская гвардия была жандармерией обычного типа, которая вот уж около ста лет исполняла функцию охраны имущих классов. Одновременно был оглашен декрет о сдаче оружия всеми частными лицами. Этот декрет, разумеется, не выполнялся; было ясно, что отобрать оружие у анархистов можно только силой. В городе ходили различные слухи, часто неясные и противоречивые из-за вмешательства военной цензуры, о

мелких стычках, происходивших по всей Каталонии. В ряде районов вооруженная полиция совершила облавы на анархистов. В Пуигсерде, на французской границе, отряд карабинеров был послан для захвата таможни, которую занимали анархисты. Был убит известный анархист Антонио Мартин. Подобные инциденты произошли в Фигуэрасе и, насколько я знаю, в Таррагоне. Более или менее крупные стычки произошли в рабочих пригородах Барселоны. Вот уж некоторое время члены С.Н.Т. и U.G.T. устраивали взаимные побоища. Иногда за убийствами следовали массовые провокационные похороны, явно ставившие своей целью разжигание политических страстей. Похороны убитого незадолго до моего приезда в Барселону члена С.Н.Т. были превращены в манифестацию с участием нескольких сот тысяч человек. В конце апреля, вскоре после того, как я приехал в Барселону, был убит, невидимому кем-то из С.Н.Т., видный член U.G.T. Ролдан. Правительство распорядилось закрыть все магазины и организовало грандиозное траурное шествие, в котором участвовали главным образом части Народной армии. Шествие продолжалось два часа. Я смотрел на него из окна своей гостиницы без всякого энтузиазма. Ясно было, что так называемые похороны — это предлог для демонстрации силы; продолжая в том же духе, можно было легко дойти до кровопролития. В эту же ночь нас с женой разбудили выстрелы на *Plaza de Catalunya*, в ста или двухстах метрах от гостиницы. На следующий день мы узнали, что застрелили члена С.Н.Т. Сделал это, по-видимому, кто-то из U.G.T. Впрочем, вполне вероятно, что все эти убийства были делом рук провокаторов. Об отношении капиталистической печати к вражде между коммунистами и анархистами можно судить по простому факту — смерть Ролдана широко рекламировалась, а об ответном убийстве печать скромно умолчала.

Приближалось 1 мая и шли разговоры о колоссальной демонстрации, в которой примут участие как С.Н.Т., так и U.G.T. Руководители С.Н.Т., более умеренные, чем многие из их сторонников, давно уж старались найти путь примирения с U.G.T.; их главной целью было объединение обоих профсоюзных блоков в одну мощную коалицию. Предлагалось поэтому, чтобы С.Н.Т. и U.G.T. прошли по городу вместе, демонстрируя свою солидарность. Но в последнюю минуту демонстрацию отменили. Было совершенно очевидно, что она вызовет только беспорядки. В результате, 1 мая не было отмечено. Барселона, так называемый революционный город, был, должно быть, единственным городом в нефашистской Европе, который не праздновал этот день. Признаюсь, однако, что у меня отлегло от сердца. В рядах Р.О.У.М. должны были шагать отряды I.L.P., и все ожидали беспорядков. Меньше всего мне хотелось впутаться в какую-нибудь бессмысленную уличную драку. Шагать по улице под красными флагами, украшенным возвышенными лозунгами и погибнуть от автоматной очереди, выпущенной кем-нибудь из окна — нет, совсем не так представляю я себе осмысленную смерть.

## 10

3 мая, примерно в полдень, приятель, которого встретил в холле гостиницы, бросил небрежно: «Говорят, была потасовка на телефонной станции». Я не обратил внимания на его слова.

В этот же день, часа в три или четыре пополудни, идя по Рамблас, я услышал за собой несколько винтовочных выстрелов. Обернувшись, я увидел несколько молодых ребят с винтовками в руках и красно-черными анархистскими платками на шее, кравшихся по боковой улице, шедшей от Рамблас на север. Они видимо перестреливались с кем-то, засевшим в высокой восьмиугольной башне (кажется, это была церковь), возвышавшейся над боковой улицей. Я сразу же подумал: «Началось!» И мысль эта совсем меня не удивила. Уже много дней все ожидали, что вот-вот «начнется». Я понял, что мне нужно возвращаться в гостиницу и посмотреть, не случилось ли чего с женой. Но группа анархистов, стоявших на перекрестке, отгоняла жестами прохожих и не велела пересекать линию огня. Снова раздались выстрелы. Стреляли с башни по улице, и перепуганная толпа кинулась вдоль по Рамблас подальше от пуля. По обеим сторонам улицы слышен был металлический лязг — это владельцы магазинов с треском опускали стальные шторы витрин. Я видел двух офицеров Народной армии, осторожно отступавших за деревья, держа руку на кобуре. Толпа ринулась к входу метро, в центре Рамблас. Я сразу же решил не следовать ее примеру. Так можно было, чего доброго, проторчать несколько часов под землей.

В этот момент ко мне подбежал американский врач, которого я знал по фронту. В страшном возбуждении он схватил меня за рукав:

— Пошли скорее в гостиницу Фалкон. (Это гостиница была чем-то вроде общежития Р.О.У.М., где обычно останавливались ополченцы, приехавшие в отпуск). Там собираются парни из Р.О.У.М. Началось! Мы должны держаться все вместе.

— Но что вся эта чертовщина значит? — спросил я.

Доктор продолжал тянуть меня за рукав. Он был слишком возбужден, чтобы дать ясный ответ. Из его слов следовало, что он был на *Plaza de Catalunya*, когда несколько грузовиков с вооруженными жандармами подъехали к телефонной станции, на которой работали, в основном, члены С.Н.Т. Жандармы внезапно атаковали здание станции, подоспело несколько анархистов и началась пальба. Я понял, что «потасовка», о которой говорил утром мой приятель, началась с того, что правительство потребовало передать в его распоряжение телеграф и, разумеется, натолкнулось на отказ.

Когда мы шли по улице, мимо нас, в обратном направлении промчался грузовик, набитый анархистами с винтовками в руках. На кабине, вцепившись в ручки легкого пулемета, лежал на горке матрасов растрепанный паренек. Когда мы добрались до гостиницы Фалкон, находившейся в нижнем конце Рамблас, в холле уже толпилось много людей. Никто толком не знал, что нужно делать и ни у кого, за исключением

бойцов ударного батальона, охранявших здание, не было оружия. Я перешел улицу и поднялся в помещение местного комитета Р.О.У.М. На верхнем этаже, где ополченцы обычно получали жалованье, тоже гудела возбужденная толпа. Высокий мужчина лет тридцати с бледным и красивым лицом, одетый в гражданское, пытался навести порядок; он раздавал ремни и пачки патронов, сваленные в кучу в углу комнаты. Винтовок еще не было. Доктор исчез; должно быть уже появились раненые, и нужна была его помощь. Появился еще один англичанин. Потом из внутренних помещений высокий мужчина и другие люди стали приносить охапки винтовок. Другому англичанину и мне, как иностранцам сначала не хотели дать винтовки, отнесясь к нам несколько подозрительно. Но появился ополченец, знавший меня по фронту, после чего нам не очень охотно, выдали по винтовке и по несколько обойм.

Вдали слышались выстрелы, и улицы совсем опустели. Все говорили, что по Рамблас пройти невозможно. Жандармы захватили самые высокие дома на улице и стреляли по каждому прохожему. Я готов был рискнуть и пойти в гостиницу, но вокруг говорили, что каждый момент можно ожидать нападения на местный комитет и нам лучше остаться на месте. В каждой комнате, на лестнице, возле здания на тротуаре стояли небольшие группы людей и возбужденно говорили. Никто, казалось, не знал в чем дело. Мне лишь удалось уяснить себе, что жандармы напали на телефонную станцию и захватили различные стратегические пункты, господствовавшие над зданиями, которые контролировались рабочими. И все считали, что жандармы выступили против С.Н.Т. и рабочего класса в целом. Бросалось в глаза, что в этот момент никто не винил правительство. Неимущие классы Барселоны относились к жандармам с ненавистью и, как мне казалось, были уверены, что жандармы действуют по собственной инициативе. Услышав, как обстоят дела, я облегченно вздохнул. Обстановка приобретала ясность. С одной стороны С.Н.Т., с другой полиция. Я не питаю особой любви к идеализированному «рабочему» — плоду воображения коммунистов, воспитанных в буржуазном обществе, но когда я вижу конкретного рабочего, схватившегося со своим исконным врагом — полицейским, я не должен спрашивать себя дважды, на чьей я стороне.

Прошло много времени, а в нашем конце города все было как будто спокойно. Мне не приходило в голову позвонить в гостиницу и узнать, все ли в порядке у жены. Я был твердо убежден, что телефонная станция прекратила работу. На деле же она отключилась всего на несколько часов. В двух зданиях собралось около трехсот человек. В основном, это были бедняки, жители боковых улиц набережной реки. Среди них было немало женщин, некоторые — с грудными детьми, и кучка мальчишек-оборванцев. Думаю, что многие из них не имели представления о происходящем и прибежали в здание Р.О.У.М., ища защиты. Были здесь и ополченцы-отпускники, а также несколько иностранцев. По моей оценке, на нас всех приходилось в общей сложности не более шестидесяти винтовок. Комнату наверху непрерывно осаждала толпа, требовавшая оружия. Ответ был один: винтовок больше нет. Молоденькие ополченцы, для которых все происходящее было вроде увеселительного представления, шныряли в толпе и старались выманить, а то и просто украсть винтовку у зазевавшегося. Очень скоро один из них ловко выхватил у меня винтовку, после чего его и след простыл. Я снова оказался безоружным, если не считать моего маленького автоматического пистолета с единственной обоймой.

Стемнело. Я проголодался, но в Фалконе еды не было. Мы с приятелем решили отправиться к нему в гостиницу, находившуюся неподалеку, и подкрепиться. На улицах было совсем темно и тихо. Ни живой души, витрины всех магазинов закрыты стальными шторами. Баррикад еще не было. Нас довольно долго не впускали в закрытую на все замки и засовы гостиницу. Вернувшись обратно, я узнал, что телефон работает и пошел наверх, чтобы позвонить жене. Любопытно, что во всем здании не оказалось телефонной книги, а я не знал номера гостиницы «Континенталь». Около часа я рыскал по всем комнатам, пока не нашел путеводителя, в котором был номер гостиницы. Мне не удалось связаться с женой, но я поймал представителя I.L.P. в Барселоне Джона Макнэра. Он сказал мне, что все в порядке, никого не подстрелили и спросил, как дела в комитете. Я ответил, что все было бы хорошо, да вот только беда — кончились сигареты. Я пошутил, но через полчаса появился Макнэр с двумя пачками сигарет «Лаки страйк». Ему пришлось прогуляться по темным — хоть глаз выколи, — улицам, где то и дело попадались вооруженные патрули анархистов, дважды остановивших его для проверки документов под пистолетным дулом. Я не забуду этот героический поступок. Мы жадно затягивались дымом сигарет.

У каждого окна были выставлены вооруженные часовые, возле дома на улице дежурила небольшая группа бойцов ударного батальона, проверявших документы случайных прохожих. Проехала, щетинясь стволами винтовок, патрульная машина анархистов. Рядом с шофером сидела черноволосая красавица лет восемнадцати, держа на коленях автомат. Я убивал время, бродя по огромному зданию, в лабиринтах которого трудно было разобраться. Всюду валялись мусор, поломанная мебель и рваная бумага, казавшиеся неизбежными атрибутами революции. Везде спали люди; на поломанном диване, стоявшем в коридоре, мирно посапывали две бедно одетые женщины. В этом здании раньше помещался театр-кабарэ. В некоторых комнатах сохранились эстрадные помосты, на одном из них сиротливо высился рояль. Наконец, я нашел то, что искал — склад оружия. Мне часто говорили, будто все враждующие партии — P.S.U.C., P.O.U.M. а также C.N.T. — F.A.I. готовят впрок оружие, и я не мог поверить, что в двух главных форпостах P.O.U.M. имеется всего 50 или 60 винтовок. Перед комнатой, служившей складом оружия, часового не было. Мне и еще одному англичанину без труда удалось взломать тонкую дверь. Попав в комнату, мы убедились, что нам сказали правду — оружия действительно больше не было. Весь склад состоял из двух дюжин малокалиберных винтовок устаревшего образца и нескольких охотничьих ружей без патронов. Я пошел обратно в штаб и справился, нет ли у них лишних револьверных патронов. Патронов не оказалось. Одна из анархистских патрульных машин привезла несколько ящиков с бомбами. Я захватил парочку. Это были самодельные бомбы, которые взрывались, если потереть верхушку снаряда чем-то вроде спички. Впрочем, они выглядели так, что им ничего не стоило взрываться и без чьей-либо помощи.

На полу спали люди. В какой-то комнате, не переставая, плакал ребенок. Хоть стоял май, ночь была холодная. Я срезал с одной из эстрад занавес, завернулся в него и несколько часов поспал. Помню, мне вдруг пришла в голову мысль о том, что если я начну слишком ворочаться во сне, меня может разорвать на кусочки одна из адских машин в моем кармане. В три утра меня разбудил все тот же высокий красивый мужчина, видимо командир. Он дал мне винтовку и поставил на часы к одному

из окон, сказав, что виновник нападения на телеграф, начальник полиции Салас арестован. (Позднее мы узнали, что Саласа только сняли с этого поста. Тем не менее известие подтверждало общее мнение, что гражданская гвардия действовала самовольно). Как только рассвело, на улице стали строить две баррикады, одну — возле местного комитета, а другую возле гостиницы Фалкон. Барселонские улицы вымощены квадратной брусчаткой, которая легко укладывается в стенку, а под брусчаткой лежит щебень, годный для набивания мешков. Сколько красоты было в этом зрелище возведения баррикад. Как я жалел, что при мне не было фотоаппарата! Со страстной энергией, свойственной испанцам, когда они наконец-то всерьез принимаются за дело, длинный ряд мужчин, женщин и совсем маленьких детей выворачивал из мостовой булыжники, грузил их на где-то раздобытую тачку, тащил тяжелые мешки, сгибаясь под тяжестью щебня. В дверях комитета стояла молодая немецкая еврейка в слишком для нее длинных форменных брюках и улыбалась, глядя на строителей. За несколько часов баррикада выросла в человеческий рост. У амбразур стали часовые, за одной из баррикад разожгли костер и жарили яичницу.

Винтовку у меня забрали, и делать мне было нечего. Я и еще один англичанин решили вернуться в гостиницу «Континенталь». Издалека доносились звуки выстрелов, но на Рамблас, кажется, было спокойно. По дороге мы завернули на рынок; торговля шла всего на нескольких прилавках. Их осаждала толпа людей, жителей лежащего неподалеку рабочего квартала. Не успели мы зайти на рынок, как снаружи грохнул винтовочный залп, со стеклянной крыши во все стороны брызнули осколки. Народ кинулся бежать с базара. Но торговцы остались. Мы ухитрились выпить по чашке кофе и купили кусок козьего сыра, который я запихнул в карман с бомбами. Через несколько дней этот сыр пришелся очень кстати.

На углу улицы, где днем раньше я видел стреляющих анархистов, теперь высилась баррикада. Стоявший за ней человек (я был на другой стороне улицы) крикнул, чтобы я был осторожнее. Гражданские гвардейцы, засевавшие на колокольне, стреляли без разбора по каждому, кто появлялся на улице. Я выждал, а потом перебежал открытое пространство. И действительно, в неприятной близости от меня просвистела пуля. Когда я приблизился к зданию P.O.U.M., все еще не пересекая улицу, стоявшие у дверей «ударники» прокричали мне что-то, но я не разобрал их слов. Вид на здание мне заслоняли деревья и газетный киоск (как это бывает в Испании, посередине улицы проходила широкая аллея) и я не видел, куда указывают солдаты. Зайдя в «Континенталь» и убедившись, что все в порядке, я сполоснул лицо и вернулся в здание P.O.U.M., находившееся метрах в ста от гостиницы. К этому времени винтовочный и пулеметный огонь со всех сторон достиг такой силы, что казалось, будто идет настоящее сражение. Я разыскал Коппа и не успел справиться, что нам делать, как вдруг внизу послышался страшный грохот. Я был уверен, что по нас открыли орудийный огонь. На самом же деле оказалось, что рвались ручные гранаты.

Копп выглянул в окно, заложил за спину свой стек и сказал: «Пошли, поглядим». Сохраняя свою обычную невозмутимую мину, как бы прогуливаясь, он стал спускаться с лестницы. Я следовал за Коппом. В дверях стояла группа ударников. Словно играя в кегли, они скатывали вниз по мостовой бомбу за бомбой, которые взрывались метрах в двадцати от дома с жутким оглушающим громом, к которому примешивалась и винтовочная пальба. Из-за газетного киоска, стоявшего в аллее посреди

улицы, выглядывала голова американского ополченца, которого я хорошо знал. Только позднее я понял, что случилось. Рядом со зданием P.O.U.M. находилось кафе с гостиницей наверху. За день до начала боев в это кафе «Мокка» явилось двадцать или тридцать вооруженных гвардейцев. Как только началась стрельба они захватили здание и забаррикадировались в нем. Видимо, им приказали захватить кафе, которое предполагалось потом использовать для атаки на здание P.O.U.M. Рано утром они попытались сделать вылазку, началась стрельба, один ударник был тяжело ранен, а гвардеец — убит. Гвардейцы вновь заперлись в кафе, но когда увидели американца, шедшего по улице, открыли по нему огонь, хотя он был без оружия. Американец залег за киоском, а «ударники» вновь старались загнать гвардейцев бомбами в помещение кафе.

Копп глянул вокруг, шагнул вперед и одним движением руки остановил рыжего немца-«ударника», вытаскивающего зубами чеку гранаты. Копп крикнул, чтобы все отошли от дверей и на нескольких языках разъяснил, что мы должны избегать кровопролития. Потом он вышел на мостовую, снял — на глазах гвардейцев с пояса пистолет и положил его на землю. Два офицера испанского ополчения сделали то же самое, после чего все трое медленно пошли к двери кафе, где прятались гвардейцы. Я бы не сделал этого и за двадцать фунтов. Они шли, без оружия, навстречу до смерти перепуганным людям, державшим в руках заряженные винтовки. Белый от страха гвардеец в рубашке с засученными рукавами вышел на переговоры с Коппом. Он возбужденно указывал на две невзорвавшиеся бомбы, лежавшие на мостовой. Копп вернулся обратно и сказал, что лучше бы эти бомбы взорвать, а то они угрожают всем прохожим. Ударник выстрелил в одну из бомб и взорвал ее, потом выстрелил в другую, но промазал. Я попросил у него винтовку, и с колена выстрелил в бомбу. Тоже мимо. Увы! Это был мой единственный выстрел за все время беспорядков. Мостовая была усеяна битым стеклом — остатками вывески кафе «Мокка». Стоявшие возле дома две автомашины, в том числе и машина Коппа, сильно пострадали от пуль, осколки бомб вдребезги разнесли ветровые стекла.

Копп позвал меня наверх и разъяснил положение. Если здание P.O.U.M. подвергнется нападению, наша задача его защищать, но руководители P.O.U.M. разослали инструкцию, в которой предлагали держаться оборонительной тактики и не открывать огня, если этого можно избежать. Прямо напротив нас находился кинотеатр «Полиорама», над ним музей, а над музеем, высоко над линией крыш, маленькая обсерватория с двойным куполом. Купол возвышался над улицей, и несколько бойцов с винтовками могли сорвать любую атаку на здания P.O.U.M. Сторожа кино были членами C.N.T. и соглашались нас впустить. Что касается гвардейцев в кафе «Мокка», то с ними хлопот не будет. Они драться не хотят и никого не тронут, лишь бы их не трогали. Копп повторил, что нам приказано не стрелять, если в нас самих не стреляют, или не нападают на занятые нами дома. Из слов Коппа я заключил, хотя он этого не сказал, что руководители P.O.U.M., страшно обозленные тем, что их втянули в это дело, все же не могут не выступить на стороне C.N.T.

В обсерватории уже находились часовые. Следующие три дня и три ночи, я просидел на крыше «Полиорамы». Слезал я с нее ненадолго, только чтобы забежать в гостиницу и наскоро поесть. Моя жизнь была вне опасности, донимали лишь голод и скука, но я вспоминаю этот период как один из самых несносных в моей жизни.



Думаю, что мне вряд ли пришлось пережить что-либо более отвратительное, более разочаровывающее, наконец, более нервирующее, чем эти дни уличных боев.

Сидя на крыше, я раздумывал о безумии всего происходящего. Из маленького окошечка обсерватории открывался на много миль вокруг вид на высокие стройные здания, стеклянные купола, причудливые волны черепичных крыш ярко-зеленого и медно-красного цветов. На востоке сверкало бледно-голубое море — впервые за время моего пребывания в Испании я увидел море. Весь этот огромный город с его миллионным населением застыл в судороге, в кошмаре звуков, рождение которых не сопровождалось ни малейшим движением. На залитых солнцем улицах было пусто. Ничего не происходило. Только баррикады и окна, заложенные мешками с песком изрыгали дождь пуль. На улице не было ни одной машины. Виднелись неподвижные трамваи, брошенные на Рамблас вагоновожатыми, убежавшими, как только началась стрельба. И все это время, не прекращаясь ни на минуту, как тропический ливень, на город обрушивался шквал огня, глухим эхом отдававшийся в тысячах каменных домов. Та-та, та-та-та, бух! Иногда огонь затихал, чтобы потом снова взорваться оглушительной канонадой. Так продолжалось целый день до наступления ночи, и на рассвете начиналось снова.

На первых порах было очень трудно определить, что произошло, кто с кем воюет, кто кого побеждает. Барселонцы так привыкли к уличным боям, и так хорошо знают географию своего города, что инстинктивно угадывают, какая политическая партия захватит ту или иную улицу и дом. Иностранцу все казалось совершенно непонятным. Глядя на город с высоты моей обсерватории, я мог только заключить, что Рамблас, одна из главных улиц Барселоны, стала линией раздела. Справа от нее находились рабочие кварталы, оплот анархистов; налево, в узких улочках кто-то с кем-то дрался, но в основном они контролировались P.S.U.C. и гражданской гвардией. На нашем конце Рамблас, возле *Plaza de Catalunya* положение было таким запутанным, что никто бы в нем не разобрался, если бы на каждом доме не был вывешен партийный флаг. Главным ориентиром была здесь гостиница «Колон», господствовавшая над *Plaza de Catalunya*. Там находился штаб P.S.U.C. В окне возле второго О в огромной вывеске «Колон» был установлен пулемет, простреливающий всю площадь. В ста метрах вправо от нас, в большом универсальном магазине засели члены молодежной лиги P.S.U.C. (равнозначно британской Лиге Молодых Коммунистов). Окна магазина, глядевшие на обсерваторию, были заложены мешками с песком. Комсомольцы спустили красный флаг и вместо него подняли национальный каталонский. На телефонной станции, с которой все и началось, развевались рядышком каталонский флаг и анархистское знамя. Здесь был достигнут какой-то компромисс: телефон работал бесперебойно, из здания никто не стрелял.

Мирно было и на нашей позиции. Гвардейцы, засевшие в кафе «Мокка», спустили стальные шторы и сложили баррикаду из мебели. Потом с полдюжины из них залезли на крышу, как раз напротив нас, и соорудили вторую баррикаду из матрасов, подняв над ней каталонский флаг. Было ясно, что гвардейцы не хотят воевать. Копп достиг договоренности с ними; если они не будут стрелять в нас, мы не будем стрелять в них. К этому времени Копп завел с гвардейцами приятельские отношения и навестил их несколько раз в кафе «Мокка». Гвардейцы, разумеется, прибрали к рукам все запасы спиртного в кафе и подарили Коппу пятнадцать бутылок пива. Взамен Копп дал

им одну из наших винтовок, — взамен винтовки, которую они где-то умудрились потерять днем раньше.

Сидение на крыше мне осточертело. Когда донимала скука, я, не обращая внимания на адский шум, часами читал книжки, которые мне посчастливилось купить несколько дней назад. Иногда я вдруг остро ощущал, что всего в пятидесяти метрах от меня сидят вооруженные люди, следящие за моими движениями. Это напоминало окопы. Несколько раз я поймал себя на том, что называю — по привычке — гражданских гвардейцев «фашистами». Обычно нас было в карауле шесть человек: в каждой башенке — по одному часовому, а остальные сидели на свинцовой крыше, где единственной защитой был каменный бортик. Я хорошо понимал, что гражданская гвардия может в любую минуту получить по телефону приказ открыть по нам огонь. Они, правда, обещали нас предупредить в этом случае, но уверенности в том, что они сдержат слово, не было. Однажды мне показалось, что заварухи не миновать. Один из гражданских гвардейцев, сидевший напротив меня на крыше, вдруг привстал на колено и стал стрелять. Я в это время находился в башенке. Прицелившись в гвардейца, я закричал:

— Эй! Не стреляй в нас!

— Что?

— Не стреляй, а то и мы начнем!

— Нет, нет! Я не в вас стреляю! Глянь вниз!

Он показал винтовкой на боковую улочку, огибавшую один из наших домов. И действительно, какой-то парень в голубом комбинезоне, с винтовкой в руках, юркнул за угол. Видимо, он только что выстрелил в гвардейца.

— Я в него стрелял. Он выстрелил первый. (Видимо так оно и было). Мы не хотим в вас стрелять. Мы такие же рабочие, как и вы.

Он поднял кулак в антифашистском салюте, я ответил ему тем же и крикнул:

— Пива у вас не осталось?

— Нет, все выпили.

В тот же день в меня без всякой видимой причины пальнул юнец из дома, где сидели комсомольцы. Когда я высунулся из окна, он внезапно прицелился и выстрелил. Видимо, я показался очень заманчивой мишенью. Я не стал в него стрелять. Хотя он находился всего в каких-нибудь ста метрах от меня, пуля даже не задела крыши обсерватории. Как обычно, меня спасла «меткость» испанских стрелков. Из этого здания в меня стреляли еще несколько раз.

Дьявольская трескотня не прекращалась. Но, насколько я мог видеть, и судя по тому, что говорили другие, обе стороны только и делали, что оборонялись. Люди не выходили из домов или отсиживались за баррикадами и палили в людей напротив. Примерно в полукилометре от нас находилась улица, на которой почти прямо друг против друга стояли дома С.Н.Т. и U.G.T. С той стороны слышалась особенно сильная стрельба. Когда, на следующий день после прекращения боев, я прошелся по той улице, я увидел витрины магазинов, напоминавшие решето. (Большинство барселонских лавочников наклеили на окна крест-накрест полосы, только началась стрельба. «Континенталь» до отказа заполнило удивительнейшее сборище людей. Здесь были иностранные журналисты, люди с подозрительным политическим прошлым, американский летчик на службе у правительства, различные коммунистические

агенты, в том числе злобещий русский толстяк с револьвером и аккуратной маленькой бомбой за поясом, о котором говорили, что он агент ГПУ (его сразу же прозвали Чарли Чаном), несколько семей зажиточных испанцев, видимо, сочувствовавших фашистам, два или три раненых бойца интернациональной бригады, несколько шоферов, перевозивших во Францию апельсины на больших грузовиках и задержанных здесь событиями, офицеры Народной армии. Народная армия в целом оставалась нейтральной и не вмешивалась в бои, но некоторое число солдат сбежало из своих частей и участвовало в боях в индивидуальном порядке. В четверг утром я видел несколько солдат на баррикадах Р.О.У.М. Вначале, пока нехватка продовольствия еще не ощущалась слишком остро, а газеты не успели еще разжечь ненависть, была склонность обратить все дело в шутку. Такие вещи случаются в Барселоне каждый год, — говорили испанцы. Итальянский журналист Джорджио Тиоли, мой добрый приятель, вдруг явился в перепачканных кровью брюках. Он вышел на улицу поглядеть, что происходит, наткнулся на раненого и стал его перевязывать, как вдруг кто-то в шутку швырнул в него гранатой. К счастью, рана оказалась поверхностной. Я помню, он сказал, что следовало бы пронумеровать барселонскую брусчатку, тогда можно было бы без хлопот строить и вновь разбирать баррикады. Помню еще, что когда я однажды пришел в свой номер усталый, голодный и грязный после ночного караула, то застал у себя нескольких бойцов интернациональной бригады. Они относились к событиям совершенно равнодушно. Будь они хорошими партийцами, им следовало бы поагитировать меня, убедить перейти на их сторону, а то и просто отобрать бомбы, которыми были набиты мои карманы. Вместо этого бойцы сочувственно заметили, что это не дело — проводить отпуск в карауле на крыше. Все считали, что происходит всего лишь пустяковая потасовка между анархистами и полицией. Несмотря на размах боев и число жертв, я думаю, что это мнение было ближе к истине, чем официальная версия, представлявшая события как запланированное восстание. В среду, 5 мая, обстановка начала меняться. На жутких, слепых улицах замаячили первые прохожие, они шли по своим делам, размахивая белыми платками, а посреди Рамблас, которая не простреливалась, забегали мальчишки, выкрикивая на пустой улице названия газет. Во вторник анархистская газета «*Solidaridad Obrera*» назвала нападение на телефонную станцию «чудовишной провокацией», — или чем-то вроде этого, — а до среды успела перестроиться и начала уговаривать граждан вернуться на работу. Вожди анархистов выступали с такими же призывами по радио. Гражданская гвардия, напав на телефонную станцию, одновременно захватила и редакцию газеты Р.О.У.М. «*La Batalla*». Но газета тем не менее вышла, правда, указав новый адрес редакции. Несколько номеров попало к нам, в них были призывы оставаться на баррикадах. Люди не знали, кого слушаться и терялись в догадках. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь ушел с баррикад, но всем уже успела надоесть бессмысленная борьба, которая ни к чему не вела: никто не хотел затевать гражданскую войну, зная, что она приведет к поражению в войне с Франко. Это опасение высказывалось со всех сторон. Судя по слухам, цели членов С.Н.Т. были ясны с самого начала: возвращение телефонной станции и разоружение ненавистной гражданской гвардии. Если бы каталонское правительство обязалось выполнить эти требования и, кроме того, решилось бы положить конец спекуляции продовольствием, нет сомнения, что баррикады исчезли бы в течение двух часов.

Но правительство не собиралось уступать. Распространялись каверзные слухи. Говорили, будто валенсийское правительство послало шесть тысяч человек для оккупации Барселоны, а пять тысяч анархистов и членов Р.О.У.М. сняты с Арагонского фронта и брошены на защиту города. Только первый из этих слухов подтвердился. С нашей башни на крыше обсерватории мы видели низкие серые силуэты военных кораблей, входящих в гавань. Дуглас Моуль, бывший моряк, сказал, что корабли похожи на английские эсминцы. Оказалось, что это и на самом деле были английские эсминцы, хотя мы узнали об этом только позднее.

Вечером нам сказали, что на площади Испании четыреста гвардейцев сдалось анархистам; дошел также неясный слух, что на окраинах (то есть в рабочих кварталах) С.Н.Т. контролирует положение. Похоже было, что мы побеждаем. Но в тот же вечер Копп вызвал меня и с очень серьезным видом сообщил, что по имеющимся сведениям правительство собирается поставить Р.О.У.М. вне закона и объявить ему войну. Эта новость поразила меня. Я начинал понимать смысл событий. Еще раньше я смутно предвидел, что по окончании боев всю вину свалят на Р.О.У.М., поскольку это было самая слабая партия и подходила больше других для роли козла отпущения. А тем временем кончался наш местный нейтралитет. Если правительство объявляло войну Р.О.У.М., нам не оставалось ничего другого, как защищаться. Не было сомнений, что гвардейцы, засевшие в соседнем кафе, получают приказ атаковать нас. Нас могло спасти только наступление. Копп ждал телефона. Если придет подтверждение слуха о том, что Р.О.У.М. объявляется вне закона, мы сразу же начнем готовиться к захвату кафе «Мокка».

Помню, что весь длинный, кошмарный вечер мы укрепляли наш дом, опустили стальные шторы и заложили главный ход кирпичами, которые оставили рабочие, ремонтировавшие дом. Мы проверили наше оружие. Считая шесть винтовок часовых на крыше «Полиорамы», мы имели двадцать одну винтовку, в том числе одну испорченную; на каждую приходилось по пятьдесят патронов. У нас было несколько дюжин бомб, несколько пистолетов и револьверов — и все. Десяток бойцов, главным образом немцы, вызвались атаковать кафе «Мокка», как только придет приказ. В атаку следовало идти по крышам, на рассвете, чтобы захватить гвардейцев врасплох. Их было больше, чем нас, но боевой дух наших солдат был выше. Не приходится сомневаться, что атака удалась бы, хотя могли быть убитые. В нашем здании не было продовольствия, если не считать нескольких плиток шоколада. Пополз слух, что «они» перекроют воду. (Никто не знал, кто это — «они». Это могло быть правительство, ведающее подачей воды, либо С.Н.Т. — толком никто ничего не знал). Мы наполнили водой все унитазы в уборных, всю посуду, какую удалось раздобыть, даже те пятнадцать пивных бутылок — теперь уже пустых, — которые гвардейцы дали Коппу.

Настроение у меня было хуже некуда, к тому же я здорово устал, так как провел без сна почти шестьдесят часов. Внизу возле баррикады вповалку спали люди. Наверху была маленькая комнатка с диваном, которую мы собирались использовать как перевязочную, хотя во всем здании не оказалось, разумеется, ни йода, ни бинтов. Моя жена пришла из гостиницы и предложила свои услуги как медицинская сестра. Я лег на диван, решив соснуть полчаса перед атакой на кафе «Мокка», в которой меня, конечно, могли убить. Помню, что пистолет, висевший на поясе, впивался мне

в бок и мешал улечься как следует. А потом вспоминаю мое внезапное пробуждение. Возле дивана стояла жена. Было уже совсем светло, ничего не случилось, правительство не объявило войну Р.О.У.М., воду не перекрыли, и, если не считать вспышек беспорядочной стрельбы на улицах, все шло нормально. Жена сказала, что у нее не хватило духу разбудить меня и она провела ночь в кресле.

Вечером наступило что-то вроде перемирия. Стрельба стихла и улицы внезапно заполнились людьми. В нескольких магазинах поднялись шторы, собравшаяся на рынке толпа требовала продуктов, хотя прилавки были почти пусты. Трамваи, однако, не ходили. Гвардейцы по-прежнему отсиживались за своей баррикадой в кафе «Мокка». Ни одна из сторон баррикад не разобрала, все бегали, закупая продукты, и со всех сторон слышался один и тот же вопрос: «Вы думаете, что это уже кончилось? Вы думаете, что это начнется снова?» «Это» — бои — представлялось теперь чем-то вроде стихийного бедствия, наподобие бури или землетрясения, одинаково поражающего всех, но которого никто не в силах остановить. Я думаю, что сторонам действительно удалось договориться о перемирии на несколько часов, но часы эти промелькнули словно минуты. Внезапно, как ливень в июне, грянули выстрелы, и все побежали прятаться. Стальные шторы с треском защелкнулись, улицы опустели, словно по мановению волшебной палочки, бойцы вернулись на баррикады и «это» началось снова.

Я пошел на свой пост на крыше с чувством глубокого отвращения и ярости. Участвуя в подобных событиях, человек, мне кажется, имеет право чувствовать себя чем-то вроде исторической личности, ибо в определенном смысле он творит историю. Но на деле этого не происходит, ибо в исторические минуты всегда берут верх детали низменного порядка. Во время боев, я никогда не делал правильного «анализа» положения, что так хорошо удавалось журналистам, сидевшим в сотнях миль отсюда. Я думал прежде всего не о справедливости или несправедливости этой злосчастной междоусобицы, но о неудобствах и скуке сидения день и ночь на дурацкой крыше, о голоде, мучившем все больше и больше — никто из нас не ел как следует с понедельника. Я не переставал думать о том, что как только это безобразие здесь кончится, надо как можно быстрее отправляться на фронт. Я был взбешен. Проведя сто пятнадцать дней на фронте, я приехал в Барселону с единственной мечтой хотя бы немного отдохнуть, воспользоваться комфортом городской жизни. А вместе этого я проводил свое время сидя на крыше, напротив гвардейцев, которым вся эта музыка надоела так же, как и мне, которые то и дело приветственно махали, заверяя, что и они «рабочие» (они говорили это, рассчитывая, что я не буду в них стрелять), но которые, получив приказ, несомненно открыли бы по мне огонь. Может быть, на наших глазах делалась история, но мы этого не ощущали. Все вокруг нас скорее напоминало скверное время на фронте, когда людей было мало и каждому приходилось выстаивать долгие часы на карауле. Ни о каком героизме не могло быть и речи. Нужно было стоять на посту, томиться от скуки, едва не падая с ног от усталости, потеряв всякий интерес к происходящему.

В гостинице, разношерстные обитатели которой не осмеливались носа высунуть на улицу, воцарилась кошмарная атмосфера подозрительности. Всюду бродили шпиономаны, видевшие в каждом человеке агента коммунистов, троцкистов, анархистов, и еще Бог весть кого. Русский агент, толстяк, хватал за пуговицу иностранных бежен-

цев и внушительно разъяснял, что все эти события — ничто иное, как анархистский заговор. Я разглядывал его с некоторым интересом, ибо впервые (если не считать журналистов) мне довелось увидеть человека, профессией которого было распространение лжи. Что-то отвратительное было в этой пародии на элегантную жизнь, которая продолжалась за спущенными шторами, под грохот винтовочной стрельбы. В большую столовую как-то залетела пуля. Она пробила окно и отколола кусочек мрамора от колонны, поэтому теперь все обедали в темной задней комнате, где всегда не хватало столиков. Меньше стало и официантов, — часть из них была членами С.Н.Т. и бастовала, — временно решив расстаться со своими крахмальными манишками. Но еда по прежнему разносилась очень церемонно, хотя есть, по существу, было нечего. В этот четверг главным блюдом за обедом были сардины — по одной сардинке на человека. Уже несколько дней в гостинице не было хлеба, иссякал даже запас вина, поэтому мы пили все более и более старые вина, по все более и более высокой цене. Недостаток продовольствия ощущался и несколько дней после окончания боев. Я помню, что три дня подряд мы с женой завтракали маленьким козьим сыром без хлеба, не заливая ничем. Вдоволь было только апельсинов. Их в большом количестве принесли в гостиницу французские шоферы. Этих свирепых выглядевших парней сопровождали несколько испанских красоток и здоровенный грузчик в черной блузе. В любое другое время заносчивый метрдотель сделал бы все, чтобы досадить шоферам, а скорее всего вообще не пустил бы их в отель, но теперь они пользовались большой популярностью, ибо в отличие от нас, имели свой запас хлеба, а мы его у них клянчили.

Я провел эту последнюю ночь на крыше, а на следующий день все выглядело так, как если бы бои действительно кончились. Припоминаю, что в этот день, в пятницу, стрельба почти совсем прекратилась. Никто точно не знал, пришли ли войска из Валенсии. Кстати, они прибыли именно в тот вечер. Радио передавало правительственные призывы, в которых увещевания перемешивались с угрозами: всем предлагалось разойтись по домам. Правительство извещало, что лица, задержанные после определенного часа с оружием в руках, будут арестованы. Хотя никто не обращал на эти призывы особого внимания, баррикады быстро пустели. Не сомневаюсь, что главной причиной была нехватка продовольствия. Со всех сторон слышалось одно и то же: «Еды больше нет, надо идти на работу». В то же время гвардейцы, знавшие, что до тех пор пока в городе есть хоть крошка хлеба, они получают свою норму, не уходили с постов. К вечеру улицы приобрели почти совсем нормальный вид, хотя покинутые баррикады все еще оставались на своих местах. На Рамблас было полно народу, почти все магазины открылись, и — что самое утешительное, — дернулись и покатались по улицам, казавшиеся замерзшими, трамваи. Гвардейцы все еще занимали кафе «Мокка» и не спешили разбирать баррикады, но некоторые из них вытащили стулья на улицу и расселись, держа меж колен винтовки. Проходя мимо, я подмигнул одному из них, гвардеец ответил мне вполне дружелюбной улыбкой. Он меня, конечно, узнал. С крыши телефонной станции был снят анархистский флаг, теперь там развевался только каталонский. Это значило, что рабочие были окончательно разбиты. Я понял, хотя из-за своей политической неграмотности — менее ясно, чем следовало бы, что как только правительство почувствует себя более уверенно, начнутся репрессии. Но в тот момент это меня совсем не занимало. Я

чувствовал только глубокое облегчение, — пальба утихла, можно было пойти купить чего-нибудь поесть, а потом немного отдохнуть и прийти в себя перед отъездом на фронт.

Был уже, должно быть, поздний вечер, когда на улицах показались впервые подразделения, прибывшие из Валенсии. Это была штурмовая гвардия, соединение подобное гражданской гвардии и карабинерам (то есть предназначенное прежде всего для несения полицейской службы) — отборные части республиканской армии. Войска появились внезапно, будто выросли из-под земли. На всех улицах появились патрули — группы по десять человек, рослые солдаты в серых или голубых мундирах, с длинными винтовками за плечами. Каждая десятка имела один автомат. А нам предстояло выполнить деликатную работу. Шесть винтовок, которыми были вооружены наши часовые, все еще оставались на крыше обсерватории. Необходимо было любой ценой вернуть их обратно в здание P.O.U.M., то есть всего-навсего перенести через улицу. Но это значило нарушить приказ правительства. Если бы нас поймали с винтовками, то, конечно, арестовали бы, а главное — skonфисковали бы оружие. Имея в здании всего двадцать одну винтовку, мы не имели права рисковать потерей шести. После долгого спора, как это сделать, было решено, что я и рыжий испанский мальчишка начнем незаметно выносить оружие. Мы сняли пиджаки и повесили винтовку на левое плечо — приклад подмышкой, а дуло просунули в штанину брюк. К несчастью, это были длинные винтовки «Маузер», и даже человек моего роста не может безнаказанно засунуть дуло «Маузера» в штанину. Спуск по винтовой лестнице обсерватории с негнущейся левой ногой был настоящей мукой. Выйдя на улицу, мы убедились, что способны передвигаться только очень медленно, так медленно, чтобы не приходилось сгибать ноги в колене. Кучка людей, собравшаяся возле кинотеатра, с любопытством глядела, как я полз черепашным шагом. Позднее я не раз задумывался о том, что эти люди говорили обо мне. Видимо, решили, что я ранен на войне. Во всяком случае, все винтовки были благополучно перенесены на место.

На следующий день все улицы кишели штурмовой гвардией. Гвардейцы ходили как победители. Не было сомнения, что правительство хочет продемонстрировать свою силу населению, отлично сознавая и без того, что народ не будет сопротивляться. Если бы существовала реальная опасность новой вспышки беспорядков, то гвардейцев держали бы в казармах, а не рассеяли по всему городу маленькими группами. Это были великолепные солдаты — лучше их я в Испании не видел, — и хотя в определенном смысле это были «враги», один их вид доставлял мне удовольствие, к которому примешивалось изумление. Я привык на Арагонском фронте к обтрепанному, плохо вооруженному ополчению, и мне было невдомек, что республика имеет такие войска, как штурмовая гвардия. Это были крепкие, как на подбор, парни и все они ходили с новенькими «русскими винтовками» (эти винтовки прибыли в Испанию из СССР, но делали их, насколько мне известно, в Америке). Я осмотрел одну такую винтовку. Это было не идеальное оружие, но его нельзя было сравнивать с кошмарными мушкетами, из которых мы стреляли. Каждый из «штурмовиков» имел автоматический пистолет, а на каждую десятку приходился один автомат. У нас на фронте один автомат приходился на пятьдесят человек, а пистолеты или револьверы можно было достать только незаконным путем. Гражданская гвардия и

карабинеры, которые не предназначались для отправки на фронт, были вооружены и одеты значительно лучше, чем мы. Я подозреваю, что так ведется на всех войнах, — всегда та же разница между элегантной полицией в тылу и оборванными фронтовиками на передовой. После одного или двух дней штурмовая гвардия начала отлично ладить с местным населением. Небольшие потасовки имели место только в первый день, когда некоторые «штурмовики», действуя, как я думаю, по инструкции, спровоцировали несколько столкновений. Они врвались в трамваи, обыскивали пассажиров, а найдя профсоюзный билет С.Н.Т., рвали его и топтали ногами. Это привело к стычкам с вооруженными анархистами. Один или двое были убиты. Но очень скоро «штурмовики» перестали вести себя с высокомерием завоевателей и отношения с населением стали более дружескими. Через день или два у большинства из них появились девушки.

Бои в Барселоне дали валенсийскому правительству долгожданный предлог для усиления своей власти в Каталонии. Шла подготовка к роспуску рабочего ополчения и включению ополченцев в Народную армию. Над Барселоной реяло республиканское знамя. Я увидел его, как мне кажется, в первый раз, — если не считать фашистских окопов. В рабочих кварталах разбирали баррикады, но, как известно, баррикаду гораздо легче построить, чем возратить камни на место. Было разрешено оставить баррикады возле домов Р.С.У.С. и многие из них оставались там вплоть до июня. Гвардейцы по-прежнему занимали стратегические пункты. В помещениях С.Н.Т. было конфисковано большое количество оружия, хотя не сомневаюсь, что много удалось скрыть. Газета «*La Batalla*» все еще выходила, но в результате вмешательства цензора, первая страница оставалась почти целиком белой. Газеты Р.С.У.С. выходили без всякой цензуры и печатали пламенные статьи с призывами запретить Р.О.У.М., который был объявлен замаскированной фашистской организацией. Агенты Р.С.У.С. распространяли карикатуру, изображавшую Р.О.У.М. в виде человека, у которого под маской с эмблемой серпа и молота скрывалась отвратительная рожа, меченая свастикой. Уже была, разумеется, выработана официальная версия событий в Барселоне: мятеж фашистской «пятой колонны», организованный Р.О.У.М.

После окончания боев атмосфера подозрительности и враждебности, царившая в гостинице, стала еще отвратительнее. Слушая на каждом шагу вздорные обвинения, нельзя было оставаться равнодушным. Почта снова работала, и начали приходить иностранные коммунистические газеты. Они не только предвзято описывали ход боев, но и совершенно искажали факты. Думаю, что кое-кто из коммунистов, бывших свидетелями событий, приходил в смущение от объяснений, которые давали им газеты, но, конечно, коммунистам не оставалось ничего другого, как молчать. Наш приятель-коммунист снова явился как-то ко мне и спросил, не хочу ли я перейти в интернациональную бригаду.

— Но ваши газеты пишут, что я фашист. Перейдя к вам из Р.О.У.М. я буду человеком подозрительным в политическом отношении, — сказал я.

— О, это не имеет значения. Ведь ты же только выполнял приказ.

Пришлось сказать ему, что после всего виденного мною, я не могу служить в части, контролируемой коммунистами. Это значило бы, что меня рано или поздно заставили бы выступить против испанского рабочего класса. Ведь то, что произошло, может повториться и впредь. В таком случае, если мне придется стрелять, я предпочту



стрелять не в рабочий класс, а в его врагов. Приятель-коммунист отнесся к моим словам с пониманием. Но обстановка в стране менялась. Уже нельзя было, как раньше, «достигнув соглашения о разногласиях», выпивать с человеком, который был вашим политическим оппонентом. В холле гостиницы произошло несколько острых и безобразных стычек. Тюрьмы уже были битком набиты. Когда бои кончились, анархисты отпустили всех пленных, но гражданская гвардия этого не сделала. Более того, многих пленных бросили в тюрьму и держали там без суда долгие месяцы. Полиция без конца ошибалась и арестовывала многих совершенно невинных людей. Я упомянул раньше, что Дуглас Томпсон был ранен примерно в начале апреля. Потом мы потеряли его из виду, что обычно случается с ранеными, так как их часто перевозили из одного госпиталя в другой. Из госпиталя в Таррагоне Томсона отослали в Барселону, и он приехал в город как раз к началу боев. Когда я встретил Томпсона во вторник утром, он, ошеломленный раздававшимися со всех сторон выстрелами, задал вопрос, который в то утро задавали все:

— В чем дело?

Я объяснил ему как умел. Томпсон сразу же решил:

— Я буду держаться в стороне от всего этого. Моя рука еще не зажила. Пойду в гостиницу и пережду.

Он пошел в гостиницу, но к несчастью (как важно во время уличных боев знать местную географию), его гостиница находилась в той части города, которую контролировала гражданская гвардия. В гостиницу пришли с обыском. Томпсона арестовали и посадили в камеру, где было столько народу, что негде было лечь. Продержали его там восемь дней. Таких случаев было много. Иностранцы с сомнительным политическим прошлым скрывались, разыскиваемые полицией, живя в постоянном страхе доноса. Особенно туго приходилось итальянцам и немцам, не имевшим паспортов и преследуемым, как правило, секретной полицией своих собственных стран. В случае ареста, их могли выслать во Францию, что сопряжено было с возможностью выдачи Италии или Германии, где их, вероятно всего, ожидали всякие ужасы. Некоторые иностранки быстро нашли выход из положения, «выйдя замуж» фиктивным браком за испанцев. Девушка-немка, не имевшая документов, спаслась от полиции, изображая в течение нескольких дней любовницу одного из своих знакомых. Помню выражение стыда и смущения на ее лице, когда случайно зайдя к этому человеку, я увидел, как она выходит из его спальни. Она, конечно, не была его любовницей, но видимо думала, что я за таковую ее принял. Все это время нас не оставляло отвратительное чувство, что какой-либо бывший друг может вдруг пойти с доносом в полицию. Длинные бессонные ночи, стрельба, крики, недоедание, напряжение и скука караулов на крыше, когда каждую минуту можно было получить пулю в лоб или быть готовым стрелять самому, вконец расшатали мои нервы. Дошло до того, что я хватался за пистолет всякий раз, когда где-то хлопала дверь. В субботу утром с улицы вдруг послышались выстрелы и все закричали: «Снова началось»! Я выскочил на улицу и обнаружил, что несколько «штурмовиков» пытаются пристрелить бешеную собаку. Никто из побывавших в те дни в Барселоне или навестивших город даже месяцы спустя, не забудет кошмарную атмосферу: страхи, подозрения, ненависть, газетная цензура, переполненные тюрьмы, бесконечные очереди за продуктами, рыскающие повсюду банды вооруженных людей.

Я попытался передать, что чувствовал человек, оказавшийся в Барселоне во время уличных боев. Боюсь, однако, что мне не удалось дать представление о том, насколько странно и дико было все происходившее. Возвращаясь памятью к событиям того времени, я вижу перед собой случайных встречных, не принимавших участия в боях; им события, должно быть, представлялись бессмысленной возней. Помню модно одетую даму с корзинкой для покупок, переброшенной через руку. За дамой шел на поводке белый пудель. Увидев ее на Рамблас, я решил, что она глуха, если не слышит стрельбы на соседней улице. Вот перед моими глазами встает образ мужчины, бегущего по совершенно пустой *Plaza de Catalunya* размахивая двумя белыми платками — по одному в каждой руке. А вот большая группа людей в черном, которые целый час напрасно пытались перейти площадь. Стоило им только показаться из-за угла, как пулеметчики P.S.U.C., засевшие в отеле «Колон», открывали огонь и загоняли людей в черном обратно за угол, хотя было ясно, что они безоружны. Думаю, это была похоронная процессия. Вспоминаю маленького старичка, сторожа музея над кино «Полиорама», видевшего в нас гостей, явившихся к нему со светским визитом. — Очень рад приветствовать у себя англичан, они такие «симпатики», — сообщил сторож и очень просил снова навестить его, когда все это кончится. Я, кстати, исполнил свое обещание. И другой старичок, стоявший в подворотне и добродушно кивавший в сторону *Plaza de Catalunya*, обстреливаемую со всех сторон. «Снова девятнадцатое июля», — заметил старичок так, будто речь шла о погоде. Я трижды посетил сапожную мастерскую, где заказал ботинки: я побывал там до начала боев, после их окончания и во время короткого перемирия 5 мая. Это была дорогая мастерская и работали там члены профсоюза U.G.T., а возможно и P.S.U.C. Во всяком случае они в политике были по другую сторону баррикады и знали, что я служу в ополчении P.O.U.M. Но к событиям сапожники относились совершенно равнодушно. «И зачем все это нужно? К тому же и делам помеха. Хоть бы кончилось поскорее. Неужели им мало стрельбы на фронте?» — говорили они. Было много людей, — возможно, большинство жителей Барселоны, — которые относились к происходящему не с большим интересом, чем, скажем, к воздушному налету.

В этой главе я рассказал лишь о своих личных переживаниях. В следующей — попробую, как смогу, изложить, что произошло в действительности, кто был прав, а кто виноват, кто нес ответственность за события. На боях в Барселоне кое-кто нажил такой огромный политический капитал, что важно попытаться дать беспристрастную оценку событиям. На эту тему написано уже так много, что материала хватило бы на много томов. Я не преувеличу, однако, если скажу, что девять десятых всего материала не соответствует действительности. Почти все газетные статьи, освещавшие ход боев, писались журналистами, которые находились на далеком расстоянии от событий. Их статьи искажали факты, причем газетчики делали это умышленно. Как обычно, читатели могли познакомиться лишь с одной стороной событий. Как и все, кто находился в то время в Барселоне, я видел лишь то, что происходило в непосредственной близости от меня, но виденного и слышанного мною вполне достаточно для того, чтобы опровергнуть многие из распространявшихся лживых измышлений. Снова прошу читателя, если он не интересуется политической склокой между множеством партий и партиек с причудливыми названиями (вроде имен китайских генералов), — пропустить эту главу. В гущу межпартийных раздоров

ныряешь как в выгребную яму — дело это малоприятное. Но попытаться разобраться и установить истину — насколько такое вообще возможно — совершенно необходимо. То, что представляется всего лишь грязной потасовкой в далеком городе, на самом деле гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд.

Никогда нельзя уже будет получить полный, точный и беспристрастный отчет о событиях в Барселоне, ибо необходимые для этого документы больше не существуют. Будущим историкам придется использовать в качестве источников многочисленные обвинения, какими осыпали друг друга враждующие стороны, и пропагандистский материал. У меня лично тоже нет почти никаких документов, я опираюсь на то, что видел собственными глазами и слышал от заслуживающих доверия очевидцев. И тем не менее, я могу опровергнуть некоторые наиболее наглые вымыслы и представить события в некоторой перспективе.

Прежде всего, что же произошло в действительности?

В течение некоторого времени обстановка в Каталонии накалялась. В первых главах книги я рассказал о борьбе между анархистами и коммунистами. К маю 1937 года положение обострилось до такой степени, что взрыва можно было ожидать каждую минуту. Непосредственным поводом к столкновению стал правительственный декрет о сдаче всего личного оружия, совпавший с решением увеличить и до зубов вооружить «не связанную с политикой» полицию, в которую не принимались члены профсоюзов. Смысл этих действий был ясен каждому. Было также совершенно очевидно, что следующим шагом станет захват ключевых отраслей промышленности, до сих пор контролируемых С.Н.Т. Кроме того, нарастало недовольство рабочего класса ширящейся пропастью между богатыми и бедными, повсеместно чувствовалось, что революцию саботируют. Многие были приятно удивлены, когда 1 мая прошло спокойно. 3 мая правительство решило занять центральный телеграф, на котором с начала войны работали преимущественно члены С.Н.Т. Предлогом было обвинение в том, что телеграф вообще работает плохо, а к тому же подслушиваются разговоры членов правительства. Начальник полиции Салас (превысил он свои полномочия или нет, осталось неизвестным) послал три грузовика вооруженных гражданских гвардейцев для захвата здания, а улицы вокруг телеграфа оцепили вооруженные полицейские в штатском. Одновременно группы гражданских гвардейцев захватили другие здания в стратегических пунктах. Каковы бы ни были их подлинные намерения, все сочли эти действия сигналом для гражданской гвардии и P.S.U.C. (коммунисты и социалисты) начать общее наступление на С.Н.Т. По городу разнесся слух, что захватывают принадлежащие профсоюзам дома, на улицах появились вооруженные анархисты, рабочие прекратили работу, и сразу же начались бои. В эту ночь и на следующее утро в городе выросли баррикады, бои не прекращались до утра 6 мая. С обеих сторон, однако, бои носили главным образом оборонительный характер. Здания осаждались, но, насколько мне известно, ни одно не было взято штурмом. Артиллерия не была введена в действие. Силы С.Н.Т. — F.A.I. — P.O.U.M. концентрировались преимущественно в рабочих кварталах, вооруженная полиция и силы P.S.U.C. держали в своих руках центральную часть города и административные

здания. 6 мая обе стороны согласились на перемирие, но вскоре бои вспыхнули вновь, видимо потому, что гражданская гвардия предприняла преждевременную попытку разоружить рабочих — членов С.Н.Т. Тем не менее, на следующее утро люди по собственному почину начали покидать баррикады. До этого времени, примерно до ночи 5 мая, верх одерживала С.Н.Т., — много гвардейцев сложило оружие. У рабочих не было, однако, ни признанного руководства, ни твердого плана, вернее, не было никакого плана, если не считать неопределенно выраженную решимость сопротивляться гражданской гвардии. Официальные руководители С.Н.Т. присоединились к призывам руководства U.G.T. и вместе уговаривали население вернуться на работу. Кончалось продовольствие, и в этом заключалась главная беда. В этих условиях никто не рисковал продолжать стрельбу. К вечеру 7 мая обстановка почти полностью нормализовалась. В этот вечер из Валенсии прибыли морем 6 тысяч штурмовых гвардейцев, взявших в свои руки контроль над Барселоной. Правительство издало приказ о разоружении всех нерегулярных частей. В течение нескольких следующих дней было конфисковано много оружия. По официальным сведениям, во время боев обе стороны потеряли четыреста человек убитыми и примерно тысячу ранеными. Четыреста убитых это, пожалуй, преувеличение, но поскольку мы проверить эту цифру не можем, приходится принять ее на веру.

Кроме того, очень трудно подытожить последствия боев. Нет доказательств, что барселонские события повлияли на положение на фронте. Но если бы бои продолжались еще несколько дней, то фронт наверняка почувствовал бы их последствия. Барселонские бои постужили предлогом для прямого подчинения Каталонии валенсийскому правительству в целях роспуска ополчения и для запрещения P.O.U.M. Нет сомнения, что эти бои способствовали также падению правительства Кабальеро. Но перечисленные события были неизбежны в любом случае. Главный вопрос заключается лишь в том, выиграли или проиграли рабочие, члены С.Н.Т., выйдя на улицы с оружием в руках. Лично я считаю, что они больше выиграли, чем проиграли. Захват барселонской телефонной станции был всего лишь эпизодом в длинной цепи событий. Начиная с прошлого года профсоюзы постепенно лишались реальной власти, шло неуклонное движение от рабочего контроля к централизованному, к государственному капитализму, а, быть может, и к реставрации частного капитализма. Народное сопротивление в какой-то степени замедляло этот процесс. Через год после начала войны каталонские рабочие, успевшие утратить немалую часть своей власти, все еще находились в сравнительно выгодном положении. То есть, их положение было бы значительно хуже, если бы они показали, что готовы уступить перед лицом любой провокации. Бывают моменты, когда лучше драться и проиграть, чем вообще не вступать в драку.

С какой целью были начаты бои? Была ли это попытка совершить государственный переворот, революционный акт, уместно ли говорить о намерении свергнуть правительство? Была ли вообще какая-либо цель в этих действиях?

Лично я считаю, что обусловленность боев сводилась лишь к ощущению их неизбежности. Не было никаких видимых признаков того, что какая-либо из сторон имела заранее разработанный план. Можно сказать почти с полной уверенностью, что для анархистов события явились неожиданностью, ибо в них принимали участие главным образом рядовые члены партии. Люди низов вышли на улицу, а полити-

ческие деятели либо неохотно последовали за ними, либо вообще остались дома. В революционном духе **говорили** только «Друзья Дурутти» — небольшая группа крайне левых, действовавших в рядах F.A.I. и P.O.U.M. Но и они не руководили, а шли на поводу у событий. «Друзья Дурутти» разбрасывали какую-то революционную листовку, но она появилась только 5 мая и нельзя сказать, что эта листовка стала причиной боев, ибо они начались 3 мая. Официальные руководители C.N.T. сразу же сняли с себя ответственность за эту листовку. Объясняется это целым рядом причин. Начнем с того, что C.N.T. все еще была представлена в центральном правительстве, а каталонское правительство позаботилось, чтобы руководители этого профсоюзного объединения были людьми более консервативных взглядов, чем рядовые профсоюзники. Кроме того, руководители C.N.T. стремились изо всех сил к объединению с U.G.T., а бои могли только углубить раскол. Наконец, — правда, в то время об этом мало кто знал, — анархистские лидеры боялись, что если события зайдут слишком далеко и рабочие захватят в свои руки власть в городе (что было вполне возможно 5 мая), произойдет иностранная интервенция. В порту стояли английские корабли — крейсер и два эсминца, а другие суда находились поблизости. Английские газеты писали, что эти корабли прибыли в Барселону, дабы «защищать британские интересы», но в действительности они и не думали этого делать, то есть, никого не высадили на берег и не взяли на борт никаких беженцев. Прямых доказательств нет, но вполне вероятно, что английское правительство, палец о палец не ударившее, чтобы спасти республиканское правительство от Франко, сразу же окажет этому правительству помощь, если его надо будет спасти от собственного рабочего класса.

Руководители P.O.U.M. не осудили выступления рабочих, они поощряли своих сторонников оставаться на баррикадах и даже одобрили (6 мая в газете «*La Batalla*») экстремистскую листовку «Друзей Дурутти». (Точное содержание этой листовки неизвестно, ибо до сих пор никто не смог достать хотя бы один экземпляр). В некоторых иностранных газетах ее называли «подстрекательским листком, расклеенным по всему городу». Сопоставив несколько источников, я могу сказать, что листовка призывала во-первых, к созданию революционного совета (хунты), во-вторых, к расстрелу всех виновных в нападении на телефонную станцию, в третьих, к разоружению гражданской гвардии. Есть расхождения и в вопросе об одобрении листовки газетой «*La Batalla*». Лично я не видел ни листовки, ни газеты за 6 мая. За все время боев мне попала на глаза только одна листовка. Она была выпущена маленькой группкой троцкистов («большевиков-ленинцев»). В листовке говорилось: «Все на баррикады — всеобщая забастовка на всех предприятиях, кроме военных!» — Только и всего. Другими словами она призывала сделать то, что уже было сделано. В действительности же руководители P.O.U.M. колебались. Они никогда не были сторонниками восстания вплоть до победы над Франко; но после того, как рабочие взялись за оружие, руководители P.O.U.M., доктринерски следуя марксистской схеме, гласящей, что когда рабочие выходят на улицы, долг революционера следовать за ними, пошли за рабочими. В результате, провозглашая революционные лозунги о «пробуждении ду-

---

<sup>1</sup> В последнем номере органа Исполкома Коминтерна *Inprecor* говорится нечто прямо противоположное — будто «*La Batalla*» приказала частям P.O.U.M. оставить фронт! Это легко проверить, заглянув в соответствующий номер «*La Batalla*».

ха 19 июля», руководители Р.О.У.М. делали все, чтобы ограничить действия рабочих пассивной обороной. Они, как я писал выше, приказали своим сторонникам держать оружие наготове, но стараться не открывать огонь. В «*La Batalla*» была напечатана инструкция, запрещающая воинским частям покидать фронт<sup>1</sup>. Насколько я могу судить, вся ответственность Р.О.У.М. состоит в том, что она призывала рабочих оставаться на баррикадах, и кое-кто откликнулся на призыв, оставшись там дольше, чем лично этого хотел. Люди, видевшие в те дни руководителей Р.О.У.М. (мне самому видеть их не довелось), говорили, что они были в отчаянии от всего происходящего, но считали своим долгом солидаризироваться с рабочими. Само собой разумеется, что позднее на этом, как обычно, наживался политический капитал. Один из вождей Р.О.У.М., Горкин, впоследствии даже говорил о «славных майских днях». С пропагандистской точки зрения это может быть и правильно. В короткое время, оставшееся до запрещения Р.О.У.М., ряды этой партии возросли. Тактически, было, пожалуй ошибкой одобрять листовку «Друзей Дурутти», группки малочисленной и, в обычное время, враждебной Р.О.У.М. В условиях всеобщего возбуждения, когда не выбирали слов, листовка воспринималась лишь как призыв оставаться на баррикадах. Но одоблив ее, в то время, как анархистская газета «*Solidaridad Obrera*» листовку осудила, руководители Р.О.У.М. дали коммунистической печати предлог заявить впоследствии, что бои вспыхнули в результате восстания, организованного Р.О.У.М. Правда, нет никакого сомнения, что коммунистическая печать выступила бы с подобным заявлением в любом случае: до и после боев обе стороны швыряли друг другу в лицо и более серьезные обвинения, почти без всяких на то оснований. Руководители С.Н.Т., действовавшие более осторожно, мало что выгадали. Их похвалили за лояльность, но выжили как из центрального, так и каталонского правительства при первом же случае.

Насколько можно судить со слов окружающих людей, в то время никто не имел по-настоящему революционных планов. На баррикадах оказались простые рабочие, члены С.Н.Т., в некоторых случаях и члены U.G.T., не собиравшиеся свергнуть правительство, а желавшие отразить то, что они — правильно или неправильно, это вопрос другой — рассматривали, как нападение полиции. Действия рабочих были, по существу, оборонительными, и я сомневаюсь, заслуживали ли они названия «восстания», как их называли все иностранные газеты. Восстание предусматривает нападение, ведущееся по определенному плану. Это же был скорее мятеж, правда, очень кровавый мятеж, ибо обе стороны имели в руках оружие и были готовы пустить его в ход.

А другая сторона? Каковы были ее намерения? Может быть произошел не анархистский, а коммунистический переворот? Тщательно подготовленная попытка одним ударом выбить власть из рук С.Н.Т.?

Я не верю в это, хотя имеются некоторые основания для такого подозрения. Знаменательно, что нечто подобное (захват вооруженной полицией телефонной станции) произошло два дня спустя в Таррагоне. Но и в самой Барселоне нападение на телефонную станцию не было изолированным актом. Во многих частях города отряды гвардейцев и сторонников Р.С.У.С. захватили здания в стратегических пунктах, если не до начала боев, то во всяком случае с удивительным проворством. Нельзя забывать, что все это происходило в Испании, а не в Англии. Барселона — город с длинной

историей уличных боев. В таких городах все происходит быстро, противник наготове, каждый знает все улицы и закоулки, — поэтому, как только раздаются выстрелы, все занимают свои места, как по команде. Вероятно, люди, ответственные за атаку на телефонную станцию, ожидали беспорядков — хотя и не такого размаха — и были готовы подавить их. Но из этого, однако, не следует, что они планировали удар по С.Н.Т. Я не верю, что какая-либо из сторон готовилась к тяжелым боям, и по двум причинам:

1. Ни одна из сторон не подтянула заранее войска в Барселону. В боях участвовали лишь наличные в городе силы — гражданские и полиция.
2. Почти сразу же кончилось продовольствие. Каждый, кто служил в Испании, знает: единственное, что испанцы во время войны делают хорошо, это снабжение войск продовольствием. Кажется совершенно невероятным, чтобы та сторона, которая за неделю или две до событий могла предвидеть уличные бои и всеобщую забастовку, не запаслась заблаговременно продуктами.

Наконец, кто был прав, кто виноват? Иностранная антифашистская печать подняла вокруг этой истории страшную шумиху, но, как обычно, выслушана была лишь одна сторона. В результате, бои в Барселоне были представлены как восстание изменников — анархистов и троцкистов, «всадивших нож в спину республиканского правительства», и т. д. и т. п. В действительности же дело обстояло не так просто. Нет сомнения, что когда идет война со смертельным врагом, лучше избегать междоусобиц. Но следует помнить, что в ссоре участвуют не менее двух сторон, а люди не начинают строить баррикад, пока их не вынуждают к этому действия, кажущиеся им провокацией.

Действительно, волнения начались в момент издания правительственного декрета, потребовавшего, чтобы анархисты сдали оружие. Британская печать дала этому факту типично английское толкование: оружие нужно было позарез Араганскому фронту, а анархисты, не будучи патриотами, отказались от сдачи оружия. Говорить так, значит не понимать того, что в действительности происходило в Испании. Все знали, что анархисты и P.S.U.C. увеличивают свои арсеналы. Когда в Барселоне вспыхнули бои, это стало очевидным, — оказалось, что обе стороны имеют много оружия. Анархисты хорошо понимали, что если даже они сдадут оружие, то P.S.U.C., главная политическая сила в Каталонии, свое оружие сохранит. (Это действительно произошло после окончания боев). А тем временем по улицам разгуливала «политически нейтральная» полиция, обвешенная снизу доверху оружием, которого так не хватало на фронте. Подоплекой всего были, однако же, непримиримые разногласия между коммунистами и анархистами, которые рано или поздно должны были привести к столкновению. За месяцы войны коммунистическая партия Испании неимоверно разрослась и захватила в свои руки значительную часть политической власти в стране. Кроме того в Испанию прибыли тысячи иностранных коммунистов, многие из которых открыто говорили о своем намерении «ликвидировать» анархизм сразу же после победы над Франко. В этих условиях вряд ли можно было ожидать от анархистов сдачи оружия, которое они захватили летом 1936 года.



Захват телефонной станции был поэтому всего лишь искрой, взорвавшей порохую бочку, стоявшую наготове. Можно даже предположить, что те, кто приказал захватить телефонную станцию, не отдавали себе отчета в последствиях этого шага. Говорят, что президент Каталонии Кампанис за несколько дней до начала боев говорил, смеясь, что анархисты все проглотят. Несомненно, однако, что шаг этот был неразумным. На протяжении последних месяцев в разных районах Испании имели место вооруженные столкновения между коммунистами и анархистами. Каталония, а прежде всего Барселона, находилась в состоянии нервного напряжения, которое уже успело привести к уличным стычкам и убийствам. Внезапно по городу разнеслась весть, что кто-то напал с оружием в руках на здания, захваченные рабочими в июльских уличных боях; эти здания успели стать для рабочих чем-то вроде символа. Следует кроме того помнить, что рабочие не питали особой любви к гражданской гвардии. Испокон веков *la guardia* была исполнительницей воли помещика и хозяина. Гражданскую гвардию ненавидели вдвойне, ибо подозревали ее (впрочем, вполне справедливо), в сочувствии фашистам<sup>2</sup>. Вполне возможно, что народ вышел на улицы в первые часы под воздействием тех же чувств, которые побудили его оказать сопротивление мятежным генералам в начале войны. Что должны были сделать рабочие? Отдать телефонную станцию без сопротивления? Ответить на этот вопрос можно по-разному — все зависит от отношения к централизованному управлению и рабочему контролю. Более убедителен такой ответ: «Да, вполне вероятно, что рабочие — члены С.Н.Т. — были правы. Но ведь шла война и они не должны были затевать драку в тылу». С этим я полностью соглашаюсь. Внутренние беспорядки были только на руку Франко. Но кто дал повод? Можно спорить о праве правительства на захват телефонной станции. Несомненно одно: в существовавшей обстановке такой шаг неминуемо вел к столкновению. Это была провокация, поступок означавший: «Ваша власть кончилась, теперь наступил наш черед». Ожидать чего-либо иного, кроме сопротивления, было смешно. Трезвая оценка событий заставляет сделать вывод, что нельзя возложить вину только на одну из сторон. Такая односторонняя версия получила распространение только по той причине, что испанские революционные партии не имели возможности представить свою точку зрения в иностранной печати. Например, нужно было перелистать очень много английских газет, прежде чем удавалось найти положительный отзыв об испанских анархистах. Причем, это касается всех периодов войны. На анархистов систематически клеветали, а напечатать что-либо в их защиту, я знаю это по собственному опыту, было почти невозможно.

Я попытался объективно описать барселонские бои. Конечно, в такого рода вещах никто не может быть совершенно объективным. В любом случае приходится стать на какую-нибудь сторону. Конечно, я делал фактические ошибки, описывая барселонские события, да и в других главах книги. Но это неизбежно. Об испанской войне писать без ошибок очень трудно, ибо нет документов, не окрашенных пропагандой. Поэтому я предупреждаю читателей, как о моей предвзятости, так и об ошибках. Но я сделал все, чтобы писать честно. Мое описание событий резко отличается от

---

<sup>2</sup> С началом войны гражданская гвардия неизменно примыкала к сильнейшей стороне. Позднее, в ряде случаев, например в Сантандере, отряды гражданской гвардии целиком перешли на сторону фашистов.

описаний, опубликованных в иностранной, особенно в коммунистической печати. Необходимо рассмотреть коммунистическую версию, ибо ее публиковали все газеты и журналы мира, она постоянно дополняется и расширяется, она стала повсеместно принятой.

Коммунистическая и прокоммунистическая печать всю вину за бои в Барселоне возложила на Р.О.У.М. События изображаются не как стихийный взрыв, а как заранее подготовленное, запланированное восстание против правительства. Восстание организовал Р.О.У.М. с помощью нескольких обманутых «крайних элементов». Более того, это был заговор, осуществленный по приказу фашистов, которые стремились развязать гражданскую войну в тылу республики и таким образом парализовать усилия правительства. Более того, Р.О.У.М. был «пятой колонной Франко», «троцкистской» организацией, сотрудничающей с фашистами. «Дейли уоркер» писала 11 мая: «Немецкие и итальянские агенты, нахлынувшие в Барселону якобы для «подготовки» пресловутого «Конгресса Четвертого Интернационала», в действительности имели совсем другую задачу. Они должны были — с помощью местных троцкистов — вызвать в Барселоне беспорядки и кровопролитие, что позволило бы Германии и Италии заявить о «невозможности осуществления эффективного морского контроля каталонского побережья в связи с беспорядками, царящими в Барселоне» и необходимости «высадить в Барселоне воинские части».

Иными словами, готовилась обстановка, которая позволила бы германскому и итальянскому правительствам высадить свою морскую пехоту на каталонском побережье «с целью обеспечения порядка» ...

Немцы и итальянцы имели для выполнения этого задания подходящее оружие — троцкистскую организацию, известную под названием Р.О.У.М.

Р.О.У.М., действуя рука об руку с уголовными элементами и некоторыми обманутыми анархистами, запланировала, организовала и руководила мятежом в тылу, точно скоординированным с наступлением фашистов на Бильбао...» И так далее, и так далее.

В этой же статье бои в Барселоне превратились в «вооруженное выступление Р.О.У.М.», а в другой статье в том же номере констатировалось: «Нет никакого сомнения в том, что полную ответственность за кровопролитие в Каталонии несет Р.О.У.М.» 29 мая «Инпрекор» писал, что баррикады в Барселоне построили «члены Р.О.У.М., посланные для этой цели своей партией».

Я мог бы цитировать еще и еще, но думаю, что и приведенных цитат вполне достаточно. Всю ответственность несет Р.О.У.М., действующий по приказу фашистов. Чуть ниже я процитирую сообщения, появившиеся в коммунистической печати. Они настолько противоречивы, что теряют всякую ценность как доказательства. Но до этого я хотел бы перечислить несколько фактов, доказывающих априори, что называть майские бои в Барселоне фашистским мятежом, организованным Р.О.У.М., нельзя.

1. Р.О.У.М. — слишком малочисленна и невлиятельна, чтобы вызвать беспорядки такого масштаба, и уж наверняка слишком слаба, чтобы организовать всеобщую забастовку. Влияние Р.О.У.М. в профсоюзах незначительно, у нее были такие же шансы объявить всеобщую забастовку в Барселоне,

как, скажем, у английской компартии сделать это в Глазго. Как я говорил выше, позиция руководителей Р.О.У.М. могла в какой-то мере продлить бои, но партия ни в коем случае не могла бы привести к началу боев, даже если бы она этого хотела.

2. Мнимый фашистский заговор остается полностью голословным утверждением, все доказательства свидетельствуют об обратном. Нас убеждают, что была запланирована высадка германских и итальянских сухопутных частей в Каталонии. Но ни немецкие, ни итальянские суда даже не приближались к побережью. Чистой выдумкой являются и разговоры о «конгрессе Четвертого Интернационала» и «немецких и итальянских агентах». Насколько я знаю, не было даже разговора о конгрессе Четвертого Интернационала. Существовали неопределенные шансы созыва конгресса Р.О.У.М. и братских партий (английской и немецкой) в июле месяце — то есть через два месяца после событий, — причем ни один делегат еще не приехал. «Немецкие и итальянские агенты» существовали только на страницах «Дейли уоркер». Каждый, кто в то время пересекал границу, знает, что было совсем нелегко «нахлынуть» в Испанию или покинуть ее.

3. Ничего не произошло ни в Лериде — бастионе Р.О.У.М. ни на фронте. Совершенно очевидно, что если бы руководители Р.О.У.М. хотели помочь фашистам, они должны были приказать своему ополчению открыть фронт. Но ничего подобного не было и не предполагалось. С фронта не был отозван ни один человек, хотя было легко, незаметно, под разными предложениями, стянуть в Барселону тысячу-другую бойцов. Не было даже косвенных попыток саботажа на фронте. Продовольствие, аммуниция и другие припасы продолжали беспрепятственно поступать на передовую. Я позднее проверил эти факты. И главное, планируя такое восстание, нужно было заранее месяцами готовиться, вести подрывную пропаганду в рядах ополчения и так далее. Не было даже и следа таких действий. Тот факт, что ополчение на фронте не участвовало в «мятеже», является решающим доказательством. Если бы Р.О.У.М. действительно планировала переворот, она не могла бы не использовать единственной ударной силы, имевшейся в ее распоряжении — десятка тысяч вооруженных ополченцев.

Думаю, что это убедительно доказывает несостоятельность коммунистической версии о «мятеже», якобы организованном Р.О.У.М. по приказу фашистов. Никаких доказательств у коммунистов нет. Но я добавлю несколько выдержек из коммунистической печати. Описание захвата телефонной станции, первого эпизода боев, чрезвычайно показательно. Противоречия друг другу от начала до конца, газеты сходятся лишь в одном — виновата другая сторона. Любопытно, что английские коммунистические газеты в первую очередь сваливали вину на анархистов, а только потом на Р.О.У.М. И это совершенно понятно. Мало кто в Англии слышал о «троцкизме», но каждый англичанин вздрагивает, услышав слово «анархизм». Достаточно сказать, что в дело замешаны «анархисты» и подходящая атмосфера предубеждения создана. После этого можно спокойно сваливать вину на «троцкистов». «Дейли уоркер» за 6 мая начала свою статью так:

«Немногочисленная шайка анархистов в понедельник и вторник захватила и пыталась удержать здания телефонной и телеграфной станции, начав стрельбу на улицах».

Итак, начинать лучше, вывернув факты наизнанку. Гражданская гвардия нападает на здание, находящееся в руках С.Н.Т., поэтому следует изобразить дело таким образом, что якобы С.Б.Т. нападает на здание, которое находится под его собственным контролем, то есть нападает само на себя. Но 11 мая «Дейли уоркер» пишет:

«Левый каталонский министр общественной безопасности Аигуаде, и социалист, главный комиссар общественного порядка Родриге Салас, направили вооруженную республиканскую полицию в здание телефонной станции с приказом разоружить рабочих, в большинстве своем членов С.Н.Т.»

Это противоречит первому сообщению, но «Дейли уоркер» и не думает признаваться, что первое сообщение было неверным. В том же номере, 11 мая, «Дейли уоркер» пишет, что листовки «Друзей Дурутти», осужденные С.Н.Т., появились 4 и 5 мая, во время боев. «Инпрекор» (22 мая) утверждает, что они появились 3 мая, то есть до накала, боев, и добавляет, «учитывая эти факты» (появление различных листовок):

«Полиция, возглавляемая лично префектом, заняла 3 мая здание центральной телефонной станции. Полицию, выполнявшую свой долг, обстреляли. Это был сигнал для провокаторов, начавших стрельбу во всем городе».

А вот, что писал «Инпрекор» 29 мая:

«В 3 часа дня комиссар общественной безопасности товарищ Салас явился на телефонную станцию, которая предыдущей ночью была захвачена 50 членами Р.О.У.М. и различными безответственными элементами».

Это уже выглядит странно. Захват телефонной станции полусотней членов Р.О.У.М. — явление достаточно примечательное, и можно было ожидать, что оно не пройдет незамеченным. Однако, его обнаружили только три или четыре недели спустя. В другом номере «Инпрекора» 50 членов Р.О.У.М. превратились в 50 бойцов ополчения Р.О.У.М. Даже при всем желании, трудно втиснуть больше противоречий в эти несколько строк. Сначала члены С.Н.Т. нападают на телефонную станцию, потом оказывается, что не они атакуют, а их атакуют; листовка появляется до захвата телефонной станции и становится причиной этого шага, но она же появляется и после захвата, из причины превращаясь в следствие. Телефонную станцию занимают то члены С.Н.Т., то члены Р.О.У.М. и так далее. В очередном номере «Дейли уоркер» (3 июня) мистер Дж. Р. Кембелл извещает нас, что правительство заняло телефонную станцию лишь потому, что были уже сооружены баррикады!

Не желая загромождать книгу, я остановился на сообщениях, связанных только с одним эпизодом, но это относится и ко всем другим сообщениям, публиковавшимся коммунистической печатью. Следует лишь добавить, что часть из них была чистой фальшивкой. Например, 7 мая «Дейли уоркер» цитировала коммюнике, опубликованное, якобы, испанским посольством в Париже:

«Характерной чертой мятежа было появление на многих домах Барселоны старого монархистского флага, как бы выражавшего убеждение мятежников, что они стали хозяевами города».

Очень возможно, что помещая это сообщение, газета «Дейли уоркер» верила в его правдивость, но тот, кто его сфабриковал в испанском посольстве, несомненно, лгал. Любой испанец сказал бы, что это ложь. Монархистский флаг в Барселоне! Это было единственное, что вмиг объединило бы все враждующие стороны. Даже коммунисты в Барселоне не могли читать это сообщение без улыбки. То же самое следует сказать и о сообщениях разных коммунистических газет относительно оружия, использованного Р.О.У.М. во время «мятежа». Поверить этим сообщениям мог только человек, понятия не имевший о фактическом положении. Мистер Франк Питкертн писал 17 мая в «Дейли уоркер»:

«Во время беспорядков они использовали все виды оружия. Оружие, которое они месяцами воровали и прятали, танки, украденные в казармах в момент начала мятежа. Совершенно очевидно, что у них еще есть десятки пулеметов и несколько тысяч винтовок».

«Инпрекор» (29 мая) подтверждал:

«3 мая Р.О.У.М. имел в своем распоряжении несколько десятков пулеметов и несколько тысяч винтовок... На *Plaza de España* троцкисты открыли огонь из 75-миллиметровых пушек, предназначенных для отправки на Арагонский фронт, но вместо этого спрятанных в казармах».

Мистер Питкертн не говорит нам, как и когда стало известно, что Р.О.У.М. имеет в своем распоряжении десятки пулеметов и несколько тысяч винтовок. Я перечислил оружие, имевшееся в трех главных зданиях Р.О.У.М.: около 80 винтовок, несколько бомб, ни одного пулемета. Этого как раз хватало, чтобы вооружить охрану, имевшуюся во всех зданиях, принадлежавших отдельным партиям. Может показаться странным, что позднее, когда Р.О.У.М. был запрещен и все его здания захвачены, эти десятки пулеметов и тысячи винтовок так и не были найдены. Не нашли даже танков и полевых орудий, которых в дымовую трубу не спрячешь. Но что особенно бросается в глаза в двух приведенных выше сообщениях, это полное невежество авторов, совершенно не разбирающихся в обстановке. Мистер Питкертн утверждает, что Р.О.У.М. использовал танки «украденные в казармах». Ополчение Р.О.У.М. (тогда уже сравнительно немногочисленное, поскольку партии прекратили набор новых бойцов в собственные отряды (ополчения), помещалось в Ленинских казармах Барселоны, в тех же казармах находились и гораздо более многочисленные соединения Народной

армии. Мистер Питкертн хочет нас таким образом уверить, что Р.О.У.М. украл танки с благословения Народной армии. То же самое относится к «казармам», где были спрятаны 75-миллиметровые пушки. Эти артиллерийские батареи, стрелявшие с *Plaza de España*, фигурировали во многих газетных сообщениях, но думаю, можно с полной уверенностью заявить — они никогда не существовали. Как я упомянул выше, во время боев я находился примерно в полутора километрах от *Plaza de España*, но артиллерийского огня не слышал. Несколько дней спустя, после окончания боев, я тщательно осмотрел площадь, но никаких следов артиллерийских снарядов ни на одном здании не нашел. Очевидец, находившийся во время событий по соседству с площадью, заявил, что орудия на ней не появлялись. (Вполне возможно, что историю с краденными орудиями придумал советский генеральный консул Антонов-Овсеенко. Во всяком случае, он сообщил ее известному английскому журналисту, который, будучи уверенным в подлинности факта, написал о нем в своем еженедельнике. Позднее Антонов-Овсеенко стал жертвой «чистки»). Все эти рассказы о танках, полевой артиллерии и тому подобном были придуманы с одной лишь целью — доказать, что такая малочисленная организация как Р.О.У.М. могла стать причиной крупных боев. Повторяю, возлагая всю ответственность за бои на Р.О.У.М., нужно было в то же время напоминать, что это незначительная партия, насчитывающая, как писал «Инпрекор», всего «несколько тысяч человек» и не имеющая сторонников. Но сочетать эти два утверждения можно было только в случае, если бы удалось доказать, что Р.О.У.М. в ходе боев пользовался наиболее современными видами оружия.

Читая коммунистические газеты, нельзя не прийти к выводу, что они сознательно используют полное незнание читателями фактов, стремясь к одному — привить им предубежденное отношение к событиям. Этим, например, можно объяснить заявление мистера Питкерта в «Дейли уоркер» (11 мая) о том, что «мятеж» был подавлен Народной армией. Автор сообщения старался создать впечатление, будто вся Каталония, как один человек, выступила против «троцкистов». Но во время событий Народная армия сохраняла нейтралитет. Вся Барселона знала об этом, и трудно поверить, что только мистер Питкертн этого не знал. Коммунистическая печать жонглировала цифрами убитых и раненых, желая раздуть размах беспорядков. Коммунистические газеты широко цитировали слова генерального секретаря испанской коммунистической партии, Хозе Диаса, заявившего, что было убито 900 человек и 2.500 ранено. Каталонское правительство пропаганды, которое нельзя заподозрить в желании преуменьшить масштабы событий, говорило о 400 убитых и 1000 раненых. Коммунистическая партия удвоила эти цифры и добавила еще несколько сот — на всякий случай.

Иностранные капиталистические газеты в своем большинстве возлагали вину за беспорядки на анархистов, но некоторые из них повторяли коммунистическую версию. В их числе была английская «Ньюс кроникл», корреспондент которой, мистер Джон Лангдон-Дэвис, находился во время боев в Барселоне. Вот, что он написал:

#### **«Троцкистский мятеж.»**

... Восстание подняли не анархисты. Это был неудавшийся путч «троцкистской» Р.О.У.М., действовавшей через контролируемые ею организации «Друзья Дурутти» и «Свободная молодежь» ... Трагедия началась в поне-

дельник вечером, когда правительство послало вооруженную полицию на центральную телефонную станцию, чтобы разоружить находившихся там рабочих, преимущественно членов С.Н.Т. Серьезные неполадки в работе телефонной станции давно уже носили скандальный характер. На площади Испании собралась большая толпа, наблюдавшая, как сопротивляются члены С.Н.Т., отдавая этаж за этажом полиции... В этом инциденте многое было неясно, но вдруг разошелся слух, что правительство выступило против анархистов. На улицах появилось множество вооруженных людей... К ночи все рабочие центры и правительственные здания были забаррикадированы, а в десять вечера раздались первые залпы и первые санитарные машины, гудя, помчались по улицам ... На рассвете, когда число убитых достигло сотни, можно было сделать попытку разобраться в случившемся. Анархистская С.Н.Т. и социалистическая U.G.T. формально «не вышли на улицу». Оставаясь за баррикадами, они настороженно выжидали, какой поворот примут события, оставляя за собой право стрелять в каждого вооруженного человека, появлявшегося на улице... Хуже стрельбы залпами были одиночные выстрелы. Расов, снайперы, обычно фашисты, стреляли с крыш, делая все, чтобы усугубить атмосферу всеобщей паники... Во вторник вечером уже стало ясно, кто организовал мятеж. На стенах появились подстрекательные плакаты с призывами к немедленной революции и казни республиканских и социалистических вождей. Подписаны они были «Друзья Дурутти». В четверг утром анархистская газета заявила, что ничего о них не знает и осудила листовку, но газета Р.О.У.М. «*La Batalla*» перепечатала призывы, отозвавшись о них крайне похвально. Барселона, первый город Испании, была втянута в кровопролитную борьбу провокаторами, использовавшими эту подрывную организацию».

Это не совсем совпадает с коммунистической версией, изложенной выше, но и сама по себе статья полна противоречий. Прочтем ее внимательно. Сначала события представляются как «троцкистский мятеж», затем говорится, что они были результатом рейда на телефонную станцию и слухов, что правительство «выступило против анархистов». Город покрывается баррикадами, сооружаемыми как членами С.Н.Т., так и U.G.T. Спустя два дня появляется плакат (точнее листовка), который, как следует из текста, дает толчок началу событий — результат предшествует причине. Итак, налицо очень серьезное искажение. Мистер Лангдон-Дэвис называет «Друзей Дурутти» и «Свободную молодежь» организациями «контролируемыми Р.О.У.М.» На самом же деле это были анархистские организации, не имевшие к Р.О.У.М. никакого отношения. «Свободная молодежь» была молодежной анархистской организацией, соответствовавшей J.S.U. — молодежной организации P.S.U.C. «Друзья Дурутти» — малочисленная организация, входившая в состав F.A.I.; ее вражда с Р.О.У.М. была непримирима. Насколько мне известно, не было человека, который состоял бы одновременно в обеих организациях. С таким же правом можно назвать Социалистическую лигу организацией, «контролируемой английской либеральной партией».

Разбирался ли в этом мистер Лангдон-Дэвис? Если нет, то ему следовало бы более осторожно касаться этой сложной проблемы.

Я не сомневаюсь в доброй воле мистера Лангдона-Дэвиса. Но, невидимому, он выехал из Барселоны к моменту окончания боев, то есть именно тогда, когда он имел возможность серьезно приступить к сбору материала. В статье Лангдона-Дэвиса заметно, что он принял официальную версию о «троцкистском мятеже» без достаточной проверки. Это очевидно даже из процитированных мной отрывков. «К ночи» появились баррикады, а «в десять часов раздались первые залпы». Очевидцы говорят иначе. Если руководствоваться указаниями статьи, то прежде следует подождать, пока противник построит баррикаду, а потом уж начать в него стрелять. Если верить мистеру Лангдону-Дэвису, то между сооружением баррикад и первыми залпами прошло несколько часов. На самом же деле все было, конечно, наоборот. Я и многие другие видели и слышали, что первые выстрелы раздались днем. Статья упоминает и «одиночных снайперов, обычно фашистов», стреляющих с крыш. Лангдон-Дэвис не объясняет, откуда ему известно, что эти люди были фашисты. Вряд ли он карабкался на крыши, чтобы справиться, кто они. Мистер Лангдон-Дэвис просто повторяет то, что ему сказали, а поскольку это совпадает с официальной версией, он не находит нужным проверять факты. Впрочем, в начале статьи Лангдон-Дэвис несколько неосторожно называет в качестве возможного источника своей информации министерство пропаганды. Иностраные журналисты в Испании целиком и полностью зависели от этого министерства, само название которого, казалось бы, таит в себе предостережение. Совершенно понятно, что министр пропаганды столь же был способен дать объективное представление о событиях в Барселоне, как, скажем, покойный лорд Карсон о дублинском восстании 1916 года.

Я привел аргументы, позволяющие утверждать, что коммунистическую версию барселонских событий нельзя принимать всерьез. Я хотел бы еще добавить несколько слов о распространенном обвинении, согласно которому Р.О.У.М. — тайная фашистская организация, оплачиваемая Франко и Гитлером.

Это обвинение повторялось вновь и вновь в коммунистической печати, особенно с начала 1937 года. Оно было частью официальной коммунистической «антитроцкистской» кампании, охватившей весь мир. Р.О.У.М. называли «ставленником троцкизма в Испании». Выходившая в Валенсии коммунистическая газета «*Frente Rojo*»<sup>3</sup> давала следующее определение «троцкизму»: «Это не политическая доктрина. Троцкизм — официальная капиталистическая организация, фашистская террористическая преступная банда, саботирующая усилия народа». Р.О.У.М. была «троцкистской» организацией, действовавшей рука об руку с фашистами, частью «франкистской пятой колонны». С самого начала бросалось в глаза, что все эти обвинения голословны. Авторы обвинений принимали при этом важный вид знатоков. Травля Р.О.У.М. изобиловала личными оскорблениями, ее инициаторы совершенно не считались с тем, как она может отразиться на ходе войны. Многие коммунистические журналисты считали вполне допустимым разглашение военной тайны, если это позволяло лишний раз облить грязью Р.О.У.М. В февральском номере «Дейли уоркер», например, Уинифред Байте позволила себе (и ей позволили) заявить, что Р.О.У.М. держит

---

<sup>3</sup> Красный фронт. (прим. пер.)



на своем участке фронта наполовину меньше бойцов, чем говорит. (Впрочем, это была неправда). И журналистка, и газета «Дейли уоркер» сочли, следовательно, вполне допустимым сообщить врагу важнейшие военные тайны. Мистер Ральф Бэйтс в «Нью рипаблик» утверждал, что бойцы Р.О.У.М. играют с фашистами в футбол на ничейной земле. Когда он это писал, части Р.О.У.М. несли тяжелые потери и многие из моих личных друзей были убиты или ранены. Широко распространялась, сначала в Мадриде, а потом в Барселоне, злобная карикатура, изображавшая Р.О.У.М., у которой под маской с серпом и молотом кроется рожа, заклеена свастикой. Если бы правительство не было под фактическим контролем коммунистов, оно никогда не позволило бы распространять подобную карикатуру во время войны. Это был умышленный удар не только по частям Р.О.У.М., но и по всем тем, кто оказывался рядом с ними. Кому приятно слышать, что часть, занимающая соседний участок фронта, состоит из предателей? Я лично не думаю, что распространяемая в тылу клевета деморализовала бойцов Р.О.У.М. Но такова была цель этой кампании. Ее организаторы ставили интересы своей партии выше единства антифашистских сил.

Обвинения против Р.О.У.М. сводились, таким образом, к следующему: несколько десятков тысяч человек, почти исключительно рабочих, не считая многочисленных сочувствующих иностранцев, главным образом — беженцев из фашистских стран, а также тысячи бойцов ополчения представляли собой огромную шпионскую организацию, оплачиваемую фашистами. Это противоречило здравому смыслу, а история Р.О.У.М. с очевидностью опровергала подобные измышления. Все руководители Р.О.У.М. имеют революционное прошлое. Некоторые из них участвовали в восстании 1934 года, большинство было заключено за социалистическую деятельность в тюрьмах монархии и республики. В 1936 году тогдашний руководитель Р.О.У.М. Хоакин Маурин, был в числе тех депутатов испанского парламента — кортесов, которые предупреждали о готовящемся мятеже Франко. Вскоре после начала мятежа он был схвачен фашистами как один из организаторов сопротивления в тылу франкистов. Когда вспыхнул мятеж, бойцы Р.О.У.М. играли видную роль в борьбе с ним. Многие члены этой партии были убиты в уличных боях, прежде всего в Мадриде. Р.О.У.М. была в числе первых организации, сформировавших в Каталонии и Мадриде отряды ополчения. Как можно объяснить все эти действия, если считать Р.О.У.М. орудием в руках фашистов? Партия, оплачиваемая фашистами просто присоединилась бы к мятежникам.

И во время войны не было никаких признаков профашистской деятельности Р.О.У.М. Говорили, что, требуя проведения более революционного курса, Р.О.У.М. раскалывала силы республиканцев, тем самым помогая фашистам. Я с этим не могу согласиться. Я думаю, что каждое правительство реформистского типа было бы недовольно политикой партии, подобной Р.О.У.М. Но отсюда еще очень далеко до прямого предательства. Никто не может объяснить, почему, — если Р.О.У.М. была в действительности организацией фашистской, — ополчение этой партии оставалось лояльным. Восемь или десять тысяч ополченцев Р.О.У.М. в невыносимых условиях зимы 1936-1937 года держали ключевые участки фронта. Многие из них не выходили из окопов по четыре-пять месяцев сряду. Если бы клеветники были правы, то как объяснить тот факт, что бойцы не ушли с фронта или не перебежали на сторону врага. У них постоянно была такая возможность, и были моменты, когда открытие фронта

могло иметь решающее влияние на исход войны. Но ополченцы Р.О.У.М. продолжали драться. А вскоре после запрещения Р.О.У.М. как политической партии, когда это событие было еще свежо в памяти всех, ополчение — еще не влитое в Народную армию — приняло участие в кровопролитном наступлении западнее Хуэски, потеряв в течение одного-двух дней несколько тысяч убитыми. Во всяком случае можно было ожидать братания с неприятелем и непрекращающегося потока дезертиров. Но, как я упомянул выше, дезертиров было очень мало. Можно было, казалось, ожидать профашистской пропаганды, «пораженчества» и так далее. Но ничего подобного не происходило. В Р.О.У.М., разумеется, просочились фашистские шпионы и провокаторы, но они были во всех левых партиях. Нет никаких доказательств того, что в рядах Р.О.У.М. их было больше, чем в других партиях.

Правда, некоторые статьи в коммунистических газетах, как бы нехотя, ограничивались утверждением, что фашисты платили только членам руководства Р.О.У.М., а не рядовым партийцам. Это была, разумеется, попытка посеять рознь между руководителями и рядовыми членами партии. Характер обвинений был однако таков, что он предусматривал участие в заговоре всех членов партии, бойцов ополчения и т. д. Совершенно очевидно, что если бы Нин, Горкин и другие пошли на службу к фашистам, то об этом их товарищи по партии узнали бы скорее, чем журналисты, сидевшие в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Как бы то ни было, когда Р.О.У.М. была запрещена, тайная полиция действовала, исходя из убеждения, что все виноваты в одинаковой степени. Арестовывались все члены Р.О.У.М., которых удавалось схватить, в том числе раненые, медсестры, жены членов Р.О.У.М., а в некоторых случаях даже дети.

Наконец, 15-16 июня Р.О.У.М. была запрещена и объявлена нелегальной организацией. Этот декрет был одним из первых шагов, сделанных правительством Негрина, сформированным в мае. Когда исполнительный комитет Р.О.У.М. был брошен в тюрьму, коммунистическая печать заявила о раскрытии гигантского фашистского заговора. Некоторое время все коммунистические газеты мира печатали материалы, похожие на сообщение, опубликованное 21 июня «Дейли уоркер»:

### **Испанские троцкисты в стоворе с Франко.**

После ареста большого числа видных фашистов в Барселоне и других городах... в конце недели стали известны детали одного из чудовищнейших шпионских заговоров, какие знает история войн. Стало явным отвратительное предательство, совершенное троцкистами... Документы, имеющиеся в руках полиции, позволяют считать доказанным и т. д. и т. п.

Было «доказано», что руководители Р.О.У.М. передавали по радио военные секреты генералу Франко, были связаны с Берлином, сотрудничали с подпольной фашистской организацией в Мадриде. К этому добавлялись живописные подробности о симпатических чернилах, о таинственных документах, подписанных буквой Н. (значит Нин) и другие детали в том же духе.

Чем же это кончилось? Через шесть месяцев после описанных событий, когда я пишу эти строки, большинство руководителей Р.О.У.М. все еще находится в тюрьме, но к суду их не привлекают: обвинения о передаче по радио сведений в ставку Франко

до сих пор не сформулированы. Если бы руководители действительно работали на фашистов, их предали бы суду и расстреляли в течение одной недели, как это делали со многими фашистскими шпионами. Но в доказательство их вины не было представлено ни единого документа, если не считать голословных утверждений коммунистической печати. Никто никогда больше не слышал и о двух сотнях «полных признаний», которых, конечно, было бы достаточно для любого суда. Но дело в том, что это были вовсе не признания заключенных, а двести плодов чьего-то буйного воображения.

Более того, большинство членов испанского правительства отказалось поверить обвинениям, выдвинутым против Р.О.У.М. Недавно правительство решило пятью голосами против двух освободить всех политических заключенных-антифашистов. Два голоса, поданных «против» принадлежали коммунистам. В августе в Испанию прибыла международная комиссия, возглавляемая членом английского парламента Джеймсом Макстоном, для проверки обвинений против Р.О.У.М. и фактов, связанных с исчезновением Андреев Нина. Министр национальной обороны Прието, министр юстиции Ирухо, министр внутренних дел Зугазагоития, генеральный прокурор Ортега и Гассет и другие отказывались верить в то, что руководители Р.О.У.М. виновны в шпионаже. Ирухо добавил, что он ознакомился с делом и что ни одно из так называемых доказательств не выдерживает критики, что документы, якобы подписанные Нином, не «представляют ценности», то есть являются подделкой. Прието считал, что руководители Р.О.У.М. несут ответственность за майские бои в Барселоне, но отвергал самую мысль, что они могут оказаться фашистскими шпионами. «Хуже всего, — добавил Прието, — что полиция арестовала руководителей Р.О.У.М. без разрешения правительства, самовольно. Более того, решение об арестах было принято не начальником полиции, а его окружением, куда — по своему обычаю — проникло много коммунистов». Прието говорил и о других незаконных арестах, произведенных полицией. Ирухо также подтвердил, что полиция, превысив свои полномочия, стала «полунезависимой» и подпала под контроль иностранных коммунистов. Прието вполне недвусмысленно намекнул, что правительство не может себе позволить обидеть коммунистическую партию в то время, когда русские снабжают Испанию оружием. Когда в декабре в Испанию прибыла другая комиссия, возглавляемая членом английского парламента Джоном Макговерном, она услышала примерно то же самое, а министр внутренних дел Зугазагоития повторил слова Прието в еще более откровенной форме: «Мы получаем помощь от русских и вынуждены разрешать некоторые действия, которые нам не нравятся». Иллюстрацией автономии полиции может служить тот факт, что имея разрешение, подписанное директором тюрем и министром юстиции, Макговерн и другие члены делегации не смогли посетить «секретную тюрьму», которую устроила в Барселоне коммунистическая партия.

Думаю, что этих примеров достаточно, чтобы дать представление о сложившемся положении. Основой для обвинения Р.О.У.М. в шпионской деятельности служили только статьи в коммунистической прессе и заявления сотрудников контролируемой коммунистами полиции. Руководители Р.О.У.М., сотни или тысячи рядовых членов партии, все еще находятся в тюрьмах, и вот уже шесть месяцев коммунистическая печать требует казни «предателей». Но Негрин и другие сохраняют хладнокровие и отказываются устроить резню «троцкистов». Учитывая нажим, под которым оказа-

лось правительство, его поведение заслуживает уважения. Принимая во внимание приведенные мною выше высказывания, все труднее верить, что Р.О.У.М. была фашистской шпионской организацией. Для этого пришлось бы поверить, что Макстон, Макговерн, Прието, Ирухо, Зугазагоития и другие — это также платные фашистские агенты.

Наконец, рассмотрим обвинение Р.О.У.М. в «троцкизме». Этим словом в последнее время пользуются все чаще и чаще, причем смысл его, как правило, преднамеренно искажается. Стоит попробовать дать этому понятию более точное определение. Словом «троцкист» определяют три разных типа людей:

1. Тех, кто, наподобие Троцкому, выступает за «мировую революцию», против «социализма в одной стране». Более широко — это революционер-экстремист.
2. Членов конкретной организации, которую возглавляет Троцкий.
3. Фашистов, прикрывающихся революционными фразами, но в действительности выступающих против СССР, прежде всего раскалывающих, подрывающих единство левых сил.

В первом смысле, Р.О.У.М., пожалуй, можно назвать троцкистской организацией. Но так можно назвать и английскую независимую лейбористскую партию, немецкую S.A.P., левых социалистов во Франции, и так далее. Но Р.О.У.М. не связана ни с Троцким, ни с троцкистскими («большевистско-ленинскими») организациями. Когда началась война, приехавшие из заграницы троцкисты (человек пятнадцать-двадцать), сначала работали на Р.О.У.М., как наиболее близкую их взглядам партию, но не вступали в ее ряды. Позднее Троцкий приказал своим сторонникам отмежеваться от политики Р.О.У.М. и троцкистов изгнали из партийного аппарата, хотя несколько человек осталось в ополчении. Нин, ставший руководителем Р.О.У.М. после того, как фашисты схватили Маурина, был в свое время секретарем Троцкого, но ушел от него несколько лет назад и создал Р.О.У.М., объединив различные оппозиционные коммунистические организации и партию — Рабоче-крестьянский блок. Коммунистическая печать использовала прошлое Нина для доказательства троцкистского характера Р.О.У.М. Но, пользуясь подобным аргументом, можно доказать, что английская коммунистическая партия — фашистская организация, ибо мистер Джон Стречи был когда-то связан с сэром Освальдом Мосли.

Если воспользоваться вторым определением, наиболее точно отвечающим смыслу понятия «троцкизм», то Р.О.У.М., конечно, не была троцкистской организацией. Это чрезвычайно важно, ибо для большинства коммунистов троцкистская организация во втором значении неизбежно подпадает и под определение номер 3, т. е. обязательно является фашистской шпионской организацией. Термин «троцкизм» получил распространение во время московских показательных процессов. Теперь назвать человека «троцкистом» значит назвать его убийцей, провокатором и т. д. С другой стороны, на каждого, кто критикует политику коммунистов слева, может быть наклеен ярлык «троцкиста». Значит ли это, что каждый крайний революционер — ставленник фашизма?

Ответ на этот вопрос бывает иногда утвердительным, иногда — отрицательным, в зависимости от того, что удобнее в данных условиях. Когда Макстон выехал во главе делегации в Испанию (я упомянул об этом выше), коммунистические газеты «*Verdad*», «*Frente Rojo*» и другие сразу же заклеили его «троцкистско-фашистским» агентом, шпионом гестапо и другими именами. Но коммунистические газеты Англии не решились вторить этим обвинениям. Английская коммунистическая печать назвала Макстона лишь «реакционным врагом рабочего класса» — обвинение довольно расплывчатое. Причина проста: коммунистические газеты Англии после ряда горьких уроков научились уважать закон о наказании за клевету. Тот факт, что обвинение в шпионаже против Макстона не было повторено в стране, где человек, выдвигающий подобное обвинение, должен быть в состоянии его доказать, убедительно говорит о лживости этого обвинения.

Может показаться, что я уделил слишком много места обвинениям против Р.О.У.М. По сравнению с бедствиями гражданской войны, партийная междоусобица, с ее неизбежными лживыми обвинениями, может показаться пошлой. Это не совсем так. Я считаю, что клевета и газетные кампании такого рода могут нанести антифашистскому делу смертельный удар.

Каждый, кто хотя бы поверхностно знаком с коммунистической тактикой расправы с политическими противниками, знает, что практика сфабрикованных обвинений — обычный метод коммунистов. Вчера они обрушивались на «социал-фашистов», сегодня громят «троцкистских фашистов». Всего шесть или семь месяцев назад советский суд «доказал», что лидеры Второго Интернационала, в том числе Леон Блюм, а также ведущие деятели лейбористской партии Великобритании, участвовали в гигантском заговоре, имевшем целью военное вторжение на территорию СССР. Сегодня французские коммунисты счастливы, что им удалось заполучить в качестве лидера Леона Блюма, а английские коммунисты делают все возможное и невозможное, чтобы пробраться в лейбористскую партию. Я сомневаюсь, чтобы такие комбинации приносили пользу даже с сектантской точки зрения. Нет никакого сомнения, что обвинения в «троцкизме-фашизме» сеют ненависть, вызывают раздоры. Повсюду рядовые коммунисты мобилизованы на бессмысленную охоту на «троцкистов», а партии типа Р.О.У.М. загнаны в угол и поневоле поставлены в положение антикоммунистических групп. Налицо явные признаки опасного раскола мирового рабочего движения. Еще несколько клеветнических кампаний против людей, всю жизнь боровшихся за социализм, еще несколько фальшивок, вроде той, какую использовали против Р.О.У.М., и раскол может стать бесповоротным. Единственная надежда — улаживать политические расхождения на уровне, допускающем всестороннюю дискуссию. Между коммунистами и теми, кто стоит (или говорит, что стоит) левее их, действительно имеются серьезные разногласия. Коммунисты считают, что фашизм может быть разбит в союзе с некоторыми кругами капиталистической прослойки (народный фронт); их оппоненты утверждают, что этот маневр лишь дает фашистам новое поле деятельности. Вопрос этот ожидает решения. Принятие неправильного решения может обречь человечество на столетия полурабского существования. Но пока вместо здравых доводов слышны лишь истошные вопли о «троцкистских фашистах», дискуссия даже не может быть начата. Например, я не смог бы говорить обо всех аспектах барселонских боев с коммунистом, ибо ни один

коммунист, я имею в виду «настоящего» коммуниста, не поверил бы, что я рассказал правду о фактическом ходе событий. Если он из тех, кто послушно следует партийной «линии», он заявит, что я либо солгал, либо безнадежно все перепутал. «Истинный» коммунист скажет, что любой читатель «Дейли уоркер», находящийся в тысяче миль от места событий и просматривающий только заголовки статей, знает о событиях в Барселоне больше меня. В этом случае не может быть и речи о разговоре, и нет надежды достигнуть минимального взаимопонимания. Чему служит утверждение, что такой человек, как Макстон — ставленник фашистов? Единственная цель такого заявления — сделать невозможной всякую серьезную дискуссию. Это похоже на то, как если бы во время шахматной партии один из соперников вдруг начал кричать, что другой повинен в поджоге и двоеженстве. Дело то ведь не в этом. Клевета ничего не решает.

## 12

Прошло, должно быть, три дня после барселонских боев, и нас отправили на фронт. После этих боев, а в особенности после потока клеветнических обвинений в газетах, трудно было относиться к войне так нее по-наивному идеалистически, как прежде. Я думаю, что нет ни одного человека, который после нескольких недель пребывания в Испании, не был бы разочарован в той или иной мере. Я вспомнил слова журналиста, с которым я встретился в день моего приезда в Барселону. Он сказал: «Это война такое же надувательство, как и все другие». Его слова глубоко потрясли меня, но в то время (в декабре) я считал, что он не прав. Я оставался при своем мнении и позднее, в мае, но не верить в эти слова становилось все труднее. Дело в том, что каждая война несет с собой нарастающее разложение, ибо нельзя совместить эффективное ведение военных действий с личной свободой и честной печатью.

Теперь можно было уже догадываться о том, какой ход примут дальнейшие события. Легко было предвидеть, что правительство Кабаллеро падет, а его место займет правительство более правое, подверженное сильному коммунистическому влиянию (это произошло через неделю или две), которое поставит перед собой цель — раз и навсегда сломить силу профсоюзов. Будущее — после победы над Франко — обещало мало хорошего, даже если забыть на время о сложнейшей проблеме реорганизации страны. Газетные толки о том, что это «война за демократию», нельзя было принимать всерьез. Ни один разумный человек не рассчитывал даже на демократию английского или французского типа в послевоенной Испании, стране раздробленной и измученной до предела. В Испании будет установлена диктатура, — с этим соглашались все, понимая однако, что возможность установления диктатуры трудящихся утрачена безвозвратно. Это означало, что развитие пойдет в сторону фашизма какого-либо толка, хотя было ясно, что для нового режима выдумают слово поделкатнее. Можно было также догадаться, что, поскольку речь шла об Испании, фашизм в этой стране будет носить более человеческий и менее эффективный характер, чем в Германии или Италии. Альтернатива представлялась в виде диктатуры Франко (что было бы несравненно хуже), но существовала также возможность раздела Испании на районы, обособленные настоящими границами, либо на самостоятельные экономические зоны.

Будущее выглядело неутешительно. Из этого, однако, не следовало, что нужно прекратить борьбу на стороне правительства против наглого и успешного пустить глубокие корни фашизма Франко и Гитлера. Какие бы ошибки не допустило послевоенное правительство, режим Франко был бы еще хуже. Для рабочих, для городского пролетариата, было в конечном итоге не так уж важно, на чьей стороне будет победа. Но Испания — страна преимущественно аграрная, а крестьяне несомненно выиграли бы в результате победы республиканцев. Какая-то часть захваченной земли условно осталась бы в руках крестьян; после раздела земли, на территории, занятой

ныне франкистами, вряд ли было бы восстановлено крепостное право, практически существующее в некоторых районах Испании. Во всяком случае, республиканское правительство, которому удастся вывести страну из войны, должно быть антиклерикальным и антифеодальным, способным ограничить влияние церкви, — по крайней мере временно, — и приступить к модернизации страны, например, к прокладке дорог, заняться вопросами просвещения и здравоохранения. Кое-что в этом направлении делалось даже ввремя войны. С другой стороны, Франко, даже если не видеть в нем всего лишь марионетку Италии или Германии, связан по рукам и ногам волей крупных феодалов-ленд-лордов и служит орудием военно-клерикальной реакции. Может быть Народный фронт — это обман, но Франко — анахронизм. Только миллионеры или романтики могут желать ему победы.

Кроме того, вот уже год или два, меня, как в кошмарном сне, терзала мысль о непрестанном росте международного престижа фашизма. Начиная с 1930 года фашисты выигрывали все битвы. Пришло время проучить их, и неважно было, кто это сделает. Если бы нам удалось спихнуть в море Франко и его иностранных наемников, международное положение значительно улучшилось бы. Из-за одного этого стоило добиваться победы, даже если в Испании воцарилась бы диктатура, а ее лучшие люди оказались бы в тюрьме.

Так рассуждал я в то время. Должен признаться, что сейчас я гораздо более высокого мнения о правительстве Негрина, чем был в момент его прихода к власти. Оно с непреклонным мужеством вело трудную борьбу и проявило больше политической терпимости, чем кто-либо мог от него ожидать. И тем не менее я продолжаю считать, что — исключая раскол Испании, последствия которого предвидеть невозможно, — послевоенное правительство проявит фашистские наклонности. Вот мое предсказание и пусть время подтвердит его или опровергнет, как оно это делает с большинством пророчеств.

Едва попав на фронт, мы узнали, что возвращавшийся в Англию Боб Смайли, был арестован на границе, привезен в Валенсию и брошен там в тюрьму. Смайли находился в Испании с октября прошлого года. Он несколько месяцев работал в управлении Р.О.У.М., а когда прибыли другие члены I.L.P., он вместе с ними записался в ополчение и отправился на три месяца на фронт, чтобы потом вернуться в Англию с пропагандистской миссией. Только через некоторое время нам удалось узнать, за что арестован Боб Смайли. Его держали в одиночной камере, не разрешая даже свидания с адвокатом. В Испании, если не по закону, то на практике, человека могут месяцами держать в тюрьме, даже не предъявляя ему обвинения, уже не говоря о суде. Наконец, нам удалось узнать от вышедшего из тюрьмы испанца, что Смайли арестовали за «хранение оружия». Как я потом выяснил, этим «оружием» были две примитивные ручные гранаты, которыми пользовались в начале войны. Смайли захватил их с собой, чтобы продемонстрировать во время своих пропагандистских выступлений, вместе с осколками снарядов и другими сувенирами. Из гранат были удалены запалы и взрывчатка, так что они представляли собой совершенно безопасные стальные цилиндры. Это, конечно, был только предлог. В действительности же Боба Смайли арестовали за всем известную связь с Р.О.У.М. Барселонские бои только что закончились, и власти делали все, чтобы не выпустить из страны кого-либо, кто мог бы опровергнуть правительственную версию. В результате, людей задерживали



на границе, причем предлоги для ареста были более или менее высосаны из пальца. Вполне возможно, что первоначально намеревались задержать Смайли всего на несколько дней. Беда, однако, в том, что в Испании, если ты уж попал в тюрьму, то остаешься там — по приговору суда или без него.

Мы все еще стояли под Хуэской, но нас передвинули вправо. Теперь прямо перед нами находилась фашистская позиция, которую мы временно захватили несколько недель назад. Я исполнял обязанность *teniente* — это соответствует, должно быть, младшему лейтенанту в английской армии — и командовал тридцатью бойцами, испанцами и англичанами. Ждали моего официального утверждения в звании, хотя уверенности в том, что оно придет, не было. Раньше офицеры ополчения не соглашались принимать армейских званий, ибо это влекло за собой увеличение жалования и противоречило принципу равенства, принятому в рядах ополчения. Теперь они вынуждены были это делать. Бенжамен был уже произведен в капитаны, а Копп ждал производства в майоры. Правительство не могло, конечно, отказаться от офицеров из рядов ополчения, но не давало им звания выше майора, желая по-видимому сохранить высшие командные посты в руках офицеров регулярной армии и выпускников офицерских школ. В результате, в нашей 29-й дивизии и, конечно, во многих других создалось странное положение — командир дивизии, командиры бригад и командиры батальонов все были майорами.

На фронте было затишье. Бой за дорогу в Яку затих (он снова разгорелся только в середине июня). На нашем участке больше всего нам досаждали снайперы. Фашистские окопы находились примерно в ста пятидесяти метрах от нас, но они лежали на возвышенности и охватывали нас с двух сторон, ибо мы вклинивались в их линию фронта под прямым углом. Угол этого клина был опасным местом. Здесь мы несли постоянные потери от снайперских пуль. Время от времени фашисты стреляли в нас из гранатомета или подобного оружия. Гранаты рвались с ужасным треском, особенно пугавшим, ибо мы не успевали заблаговременно юркнуть в укрытие. Но особой опасности они не представляли, делая в земле лишь мелкую воронку. Ночью было тепло и приятно, днем — невыносимо жарко, нещадно грызли москиты; несмотря на чистое белье, привезенное нами из Барселоны, мы сразу же обовшивели. Белой пеной покрылись вишневые деревья в покинутых садах на ничейной земле. Два дня шли ливни, вода затопила окопы, а бруствер сильно размыло; теперь мы целыми днями ковыряли вязкую глину куда не годными испанскими лопатами без ручек, которые гнулись как оловянные ложки.

Нашей роте обещали миномет. Я с нетерпением ждал его. По ночам мы, как обычно, ходили в патрули. Теперь это было опаснее, чем раньше — у фашистов прибавилось солдат и, кроме того, они стали осторожнее. Перед своей проволокой они раскидали консервные банки и, слышав дзиньканье жести, немедленно открывали пулеметный огонь. Днем мы охотились на фашистов с ничейной земли. Нужно было проползти сотню метров, чтобы попасть в заросшую высокой травой канаву, из которой можно было держать под огнем щель в фашистском парапете. Мы оборудовали в канаве огневую точку. Набравшись терпения, можно было в конце концов дожидаться и увидеть одетую в хаки фигуру, торопливо пробегающую мимо щели в бруствере. Я несколько раз стрелял по этим фигурам, но навряд ли попал: я очень скверно стреляю из винтовки. Но все же это было забавно — фашисты не знали откуда в них стреляют.

К тому же я был уверен, что рано или поздно своего фашиста подсижу. Однако вышло наоборот — фашистский снайпер подстрелил меня. Это случилось примерно на десятый день моего пребывания на фронте. Ощущения человека, пораженного пулей, чрезвычайно интересны и я думаю, что их стоит описать подробно.

Случилось это в самом углу парашюта в самое опасное время, в пять часов утра. Солнце поднималось за нашей спиной и вынырнувшая из-за парашюта голова четко рисовалась на фоне неба. Я разговаривал с часовыми, которые готовились к смене караула. Внезапно, посреди фразы, я вдруг почувствовал — трудно описать, что именно я почувствовал, хотя ощущение это необычайно свежо.

Попытаюсь выразить это так: я почувствовал себя в центре взрыва и увидел слепящую вспышку, почувствовал резкий толчок, — не боль, а только сильный удар, напоминающий удар тока, когда вы вдруг коснетесь оголенных проводов; и одновременно меня охватила противная слабость, — казалось, что я растворился в пустоте. Мешки с песком, сложенные в бруствер, вдруг поплыли прочь и оказались где-то далеко-далеко. Думаю, что так чувствует себя человек, пораженный молнией. Я сразу же понял, что ранен, но решил, — сбили меня с толку взрыв и вспышка огня, — что случайно выстрелила винтовка моего соседа. Все это заняло меньше секунды. В следующий момент колени подо мной подогнулись, и я стал падать, сильно ударившись головой о землю. Почему-то мне не было больно. Все тело одеревенело, в глазах был туман, я знал, что ранение тяжелое, но боли, в обычном смысле слова, не чувствовал.

Часовой-американец, с которым я только что разговаривал, нагнулся ко мне. «Эй! Да ты ранен!» Собрались люди. Началась обычная суматоха. «Поднимите его! Куда его ранило? Расстегните рубашку!» Американец попросил нож, чтобы разрезать рубаху. Помня, что у меня в кармане лежит нож, я попробовал его достать, но обнаружил, что правая рука парализована. Ничего у меня не болело, и я почувствовал какое-то странное удовлетворение. Это понравится моей жене, — подумал я. Она всегда мечтала, что меня ранят, а значит не убьют в бою. Только сейчас я стал думать — куда меня ранило, серьезная ли рана. Я ничего не чувствовал, но знал, что пуля ударила где-то спереди. Я попробовал говорить, но обнаружил, что голос пропал, и вместо него послышался слабый писк, потом мне все же удалось спросить, куда меня ранило. Мне ответили:

— В горло. Наш санитар Гарри Уэбб прибежал с бинтом и маленькой бутылочкой алкоголя, который нам выдавали для промывки ран. Когда меня подняли, изо рта потекла кровь. Стоявший позади испанец сказал, что пуля пробила шею навывлет. Рану полили алкоголем. В обычное время спирт жег бы невыносимо, но теперь разливался по ране лишь приятным холодком.

Меня снова положили и кто-то побежал за носилками. Узнав, что пуля пробила шею, я понял, что моя песенка спета. Я никогда не слышал, чтобы человек или животное выжили, получив пулю в шею. Тонкой струйкой текла кровь из уголка рта. «Пробита артерия» — пришло мне в голову. «Сколько можно протянуть с пробитой сонной артерией? — подумалось мне. — Несколько минут, не больше». Все было, как в тумане. Минуты две мне казалось, что я уже умер. И это тоже интересно, то есть интересно, какие мысли приходят в такой момент. Прежде всего — вполне добропорядочно — я подумал о своей жене. Потом мне стало очень обидно покидать этот мир, который, несмотря на все его недостатки, вполне меня устраивал. Это чувство оказа-

лось очень острым. Эта глупая неудача бесила меня. Какая бессмыслица! Получить пулю не в бою, а в этом дурацком окопчике, из-за минутной рассеянности! Я думал также о человеке, подстрелившем меня, — кто он, испанец или иностранец, знает ли он, что попал в меня, и так далее. Я не чувствовал против него никакой обиды. Поскольку он фашист, — проносилось в голове, — я бы его убил, если бы представился случай, но если бы его взяли в плен и привели сюда, я поздравил бы его с удачным выстрелом. Впрочем, я допускаю, что у человека, который по-настоящему умирает, бывают совсем другие мысли.

Едва меня положили на носилки, как моя парализованная рука ожила и начала чертовски болеть. Мне подумалось, что я сломал ее, когда падал; с другой стороны, боль успокоила меня, ибо я знал, что если человек умирает, его чувства притупляются. Мне стало немного лучше, и я начал жалеть четверых бедняг, тащивших, потев и скользя, носилки. До перевязочного пункта нужно было пройти километра два по скверной, выбоистой дороге. Я знал, что это значит, ибо несколько дней назад сам помогал тащить раненого. Листья серебряных тополей, местами подступавших к нашим окопам, трогали мое лицо. Я думал о том, как приятно жить в мире, в котором растут серебряные тополя. Но всю дорогу рука болела нестерпимо, я выкрикивал ругательства и в то же время старался сдерживать ругань, ибо при каждом выдохе изо рта шла кровь.

Доктор сменил перевязку, сделал мне укол морфия и отослал в Сиетамо. Госпиталь размещался в наспех сколоченных бараках. Раненые лежали здесь обычно всего несколько часов, потом их отправляли в Барбастро или Лериду. Морфий одурманил меня, но сильная боль не прошла. Я не мог двигаться и все время глотал кровь. Ко мне подошла сестра и попыталась — это очень характерно для испанских госпитальных обычаев — заставить меня проглотить большую тарелку супа, яйца, тушеное мясо. Она очень удивилась моему отказу. Я попросил закурить, но это был как раз период табачного голода и сигареты во всем госпитале не оказалось. Потом пришли двое друзей, отпросившихся на несколько часов с позиции, чтобы навестить меня.

— Привет! Значит, ты жив? Хорошо. Дай нам свои часы, револьвер и электрический фонарик. И нож, если у тебя есть.

И они ушли, забрав все мое имущество. Так поступали с каждым раненым — сразу же делили все его вещи. И это было правильно. Часы, револьверы и другие вещи были совершенно необходимы на фронте, а если их оставить у раненого, то их наверняка стащат по дороге.

К вечеру набралось достаточно больных и раненых для того, чтобы нагрузить несколько санитарных машин. Мы поехали в Барбастро. Ну и дорога! Эта война родила присловье: если тебя ранило в конечности — ты выживешь, если ранило в живот — умрешь. Теперь я понял почему. Ни один раненый с внутренним кровоизлиянием не мог выдержать многокилометровой тряски разбитыми грузовиками по крытым щебнем дорогам, которые не ремонтировались с начала войны. Ну и тряска! Я вспомнил детство и кошмарные американские горки. Нас забыли привязать к носилкам. Я держался за край носилок левой рукой, в которой сохранилось еще немного силы, но один несчастный был выкинут на пол машины и можно лишь догадываться о его муках. Другой, ходячий, сидел в углу санитарной машины, и блевал не переставая.

В Барбастро госпиталь был забит до отказа, койки стояли впритык. На следующее утро часть раненых погрузили в санитарные вагоны и отправили в Лериду.

Я пробыл в Лериде пять или шесть дней. Это был большой госпиталь, где лежали вперемешку больные и раненые, солдаты и гражданские. У некоторых в моей палате были ужасные раны. Рядом со мной лежал черноволосый паренек, принимавший какие-то медикаменты, от которых моча его становилась зеленой как изумруд. На нее приходили смотреть из других палат. Голландец-коммунист, говоривший по-английски, узнав, что в госпитале лежит англичанин, пришел ко мне. Мы подружились, он приносил мне английские газеты. Этот голландец был очень тяжело ранен во время октябрьских боев, ухитрился прижиться в леридском госпитале и женился на одной из медсестер. После ранения его нога высохла и стала не толще моей руки. Два ополченца, пришедшие навестить приятеля, узнали меня. (Мы познакомились в первую неделю моего пребывания на фронте). Это были ребята, лет по восемнадцать. Они неловко переминались с ноги на ногу возле моей постели, не зная, что сказать. Потом, желая выразить мне свое сочувствие, они вдруг вытащили из карманов табак, дали его мне и убежали, прежде чем я успел его им вернуть. Это был типично испанский жест! Я узнал потом, что во всем городе не было ни крошки табака и что они отдали мне свой недельный паек.

Через несколько дней я уже мог вставать и ходить с рукой на перевязи. Почему-то так она болела меньше. Некоторое время еще держались внутренние боли — результат моего падения. Голос почти совсем пропал, но пулевая рана больше не болела. Говорят, что это обычное явление. Пуля, пробивающая тело с огромной силой, производит шок, как бы снимающий боль; зазубренный осколок снаряда или бомбы, бьющий обычно со значительно меньшей силой, причиняет, должно быть, страшную боль. В госпитальном дворе был симпатичный сад и бассейн с золотыми рыбками и какими-то небольшими серыми рыбами. Я часами смотрел на них. Порядки в Лериде дали мне возможность составить представление о работе госпиталей на Арагонском фронте. (Мне неизвестно положение на других фронтах). В некоторых отношениях госпитали были очень хорошими — умелые врачи, медикаменты и оборудование имелись, кажется, в достаточном количестве. Но два очень серьезных недостатка помешали спасти от смерти сотни, а может быть и тысячи раненых.

Первый недостаток заключался в том, что все прифронтовые госпитали использовались почти исключительно как перевязочные пункты, откуда раненых переправляли в тыл. В результате, квалифицированная помощь оказывалась только раненым, транспортировка которых была невозможной. Теоретически, большинство раненых сразу же подлежало отправке в Барселону или Таррагону, но из-за нехватки транспорта они попадали туда через неделю, а то и через десять дней. Раненые валялись в Сиетамо, Барбастро, Монзоне, Лериде, и других городах, не получая никакой медицинской помощи, если не считать чистой повязки, да и то не всегда. На страшные осколочные раны и разможенные кости накладывали повязку из бинта и гипса, писали на ней карандашом характер ранения и оставляли в таком виде на десять дней — до Барселоны или Таррагоны. Осмотреть рану по дороге не было почти никакой возможности; считанным докторам было не под силу справиться с потоком раненых. Они торопливо проходили мимо койки, приговаривая: «Да, да. В Барселоне вами займутся». То и дело возникал слух, что поезд в Барселону отправляется *таñана* —

завтра. Вторым недостатком было отсутствие опытных медсестер. В Испании не оказалось достаточного числа подготовленных медсестер, возможно потому, что до войны эту работу исполняли главным образом монахини. У меня нет никаких претензий к испанским медсестрам, они очень добры и милосердны, но в той же мере необучены. Все они знали, как поставить больному термометр, некоторые из них умели делать перевязку, — только и всего. В результате никто не занимался ранеными, которые были слишком слабы, чтобы самим ухаживать за собой. Медсестры оставляли без внимания больных, неделю лежавших с запором, они редко мыли тех, кто сам не мог этого сделать. Я помню одного беднягу с раздробленной рукой, который, по его словам, три недели не мог вымыть лица. Никто не пришел ему на помощь. Даже кровати не перестилались по много дней. Еда во всех госпиталях была хорошая — может быть, даже слишком хорошая. В Испании, пожалуй больше чем в других странах, есть обычай закармливать больных тяжелой пищей. В Лериде кормили на убой. В шесть утра давали завтрак — суп, омлет, тушеное мясо, хлеб, белое вино и кофе. Обед был еще обильнее. А в то же время гражданское население находилось на грани голода. Но испанцы видимо не признают такой вещи, как легкая диета. Больным они дают те же блюда, что и здоровым — пряную, жирную пищу, плавающую в оливковом масле.

Однажды утром нам объявили, что всех раненых нашей палаты сегодня отправляют в Барселону. Я ухитрился послать жене телеграмму о моем приезде, а потом нас погрузили в автобусы и отвезли на станцию. И только когда поезд уже тронулся, госпитальный вестовой, ехавший с нами, заметил, как бы между прочим, что мы едем не в Барселону, а в Таррагону. Машинист, видно, передумал и изменил маршрут. «Это Испания!» — думал я. Но типично по-испански было и то, что они согласились задержать поезд, пока я пошлю новую телеграмму. Впрочем, телеграмма не дошла, и это опять же было очень похоже на Испанию.

Нас поместили в вагоны третьего класса с деревянными скамьями. Многие тяжело раненые только сегодня утром впервые встали с постели. Очень скоро, от жары и непрерывной тряски, половина из них совершенно обессилела, некоторых рвало на пол. Вестовой метался взад и вперед, перешагивая через валявшихся, как трупы, раненых и брызгал струйку воды прямо в рот, то одному то другому. Воду он держал в бурдюке из козлиной кожи. Вода была отвратительная. Я до сих пор помню ее вкус. В Таррагону мы прибыли, когда солнце уже заходило. Железнодорожное полотно было проложено почти по самому берегу моря. Когда наш поезд въехал на станцию, отошел состав с бойцами интернациональной бригады. Толпа людей на мосту махала им руками.

Состав был очень длинный, вагоны битком набиты солдатами, на открытых платформах стояли орудия, а вокруг них тоже толпились бойцы. Эта картина врезалась мне в память: поезд, уходящий в желтые сумерки, в каждом окне смуглые улыбающиеся лица, длинные стволы винтовок, развевающиеся алые шарфы, а на заднем плане — бирюзовое море.

«*Extranjeros* — иностранцы, — сказал кто-то. Итальянцы».

В том, что это были итальянцы, не было никакого сомнения. Никто другой не мог бы сбиться в такие живописные группки, с таким изяществом отвечать на приветствия толпы. Изящество жестов не страдало и от того, что половина бойцов тянула

вино прямо из горлышек запрокинутых бутылок. Позднее мы узнали, что они были в числе тех, кто в марте одержал знаменитую победу под Гвадалахарой. Теперь, после отпуска, их перебрасывали на Арагонский фронт. Боюсь, что большая часть этих бойцов погибла несколько недель спустя под Хуэской. Те из наших раненых, кто мог ходить, поднялись, чтобы приветствовать итальянцев. Кто-то махал костылем, другой вскидывал перевязанную руку в «рот-фронтовском» салюте. Это была как бы аллегорическая картина войны: эшелон гордо катящийся на фронт, — санитарный поезд с ранеными, медленно ползущий в тыл. А вид пушек на открытых платформах заставляет сердце быстрее колотиться в груди, не дает избавиться от постыдного чувства, что война, несмотря ни на что, — славное дело.

Огромный таррагонский госпиталь был полон раненых со всех фронтов. Каких только ран здесь не было! Некоторые ранения здесь лечили по последнему, видимо, слову медицины, но глядеть на это было страшно. Рану оставляли открытой и неперевязанной, шалашик из марли, натянутой на проволочную рамку, защищал ее от мух. Под марлей виднелся красный студень полузажившей раны. Здесь лежал солдат, раненый в лицо и горло. Его голову покрывал круглый марлевый шлем, в губах он сжимал маленькую трубочку, через которую дышал. Бедняга выглядел таким одиноким; он бродил по палате, глядя на нас сквозь свою марлевую клетку, не в состоянии выговорить ни слова. Я пробыл в Таррагоне три или четыре дня. Силы возвращались ко мне, и однажды, медленно переставляя ноги, я дошел до берега моря. Странно было видеть, что на набережной жизнь идет как ни в чем не бывало. Народ в элегантных кафе, упитанные буржуа купаются и загорают в шезлонгах, как если бы война шла в тысячах миль отсюда. Я стал свидетелем несчастного случая — утонул купальщик, что казалось невозможным в этом мелком и теплом море.

Наконец, через восемь или девять дней после ранения меня обследовали. В хирургической, где осматривали новоприбывших, врачи огромными ножницами взрезали гипсовые панцири, в которые заключались в прифронтовых санпунктах раненые с перебитыми ребрами и ключицами. Из громоздких гипсовых клеток выглядывали перепуганные грязные лица, заросшие многодневной щетиной. Доктор, энергичный, красивый мужчина лет тридцати, посадил меня на стул, ухватил мой язык куском шершавой марли, вытащил его так далеко как только мог, всунул мне в горло зеркала и велел сказать «Э». Я говорил «Э» пока язык не стал кровоточить, а из глаз ручьями не потекли слезы. Тогда доктор сообщил мне, что одна из голосовых связок парализована.

— А когда вернется голос? — спросил я.

— Голос? — Никогда не вернется, — весело ответил доктор.

Оказалось, однако, что он ошибся. Примерно два месяца я мог говорить только шепотом, а потом совсем неожиданно голос вернулся. Вторая голосовая связка «компенсировала» потерю. Боль в руке была вызвана пулей, поразившей пучок шейных нервов. Эта стреляющая боль, напоминавшая невралгическую, продолжалась около месяца. Она особенно мучила по ночам, так что спать мне почти не удавалось. Пальцы правой руки были наполовину парализованы. Даже сейчас, спустя пять месяцев, указательный палец все еще малоподвижен — странный результат ранения в шею.

Моя рана была в некотором смысле достопримечательностью. Разные врачи осматривали меня, цокая от удивления языком. Один из них авторитетно заявил, что пуля

прошла в «миллиметре» от артерии. Откуда он это узнал, не могу объяснить. Все, с кем я в то время имел дело — врачи, сестры, практиканты, соседи по палате — неизменно заверяли меня, что человек, получивший ранение в шею и выживший — счастливчик. Лично я не мог отделаться от мысли, что настоящий счастливчик вообще не попал бы под пулю.

В последние недели моего пребывания в Барселоне, в городе установилась атмосфера удушья, воздух был пропитан подозрениями, страхом, неуверенностью, отовсюду выглядывала едва замаскированная ненависть. Майские бои оставили неизгладимый след. С падением правительства Кабаллеро власть окончательно перешла в руки коммунистов, охраной внутреннего порядка занялись министры из рядов компартии, и никто не сомневался, что они расправятся со своими политическими соперниками, как только представится малейшая возможность. Хотя я все еще не знал, что именно произойдет, было ощущение какой-то неясной опасности, чувство надвигающейся беды. Пусть даже вы не имели ничего общего с заговорщиками, обстановка заставляла вас чувствовать себя причастным к какому-то заговору. Все перешептывались в укромных уголках кафе, беспокойно озираясь вокруг — не сидит ли за соседним столиком полицейская ищейка.

Цензура печати породила множество слухов. В частности прошел слух, что правительство Негрина-Прието решило выйти из войны, согласившись на компромисс. Одно время я был склонен этому верить, ибо фашисты приближались к Бильбао, а правительство не делало ровным счетом ничего для спасения города. Барселона застрелала баскскими флагами, по кафе ходили девушки, грохоча коробками для сбора пожертвований, радио не переставая бубнило о «героических защитниках», но реальной помощи баски не получали. Порой начинало казаться, что правительство ведет двойную игру. Позднейшие события показали, что эти подозрения были напрасны, но все же Бильбао можно было, пожалуй, спасти, если бы республиканцы принялись за дело немного более энергично. Наступление на Арагонском фронте, даже неуспешное, вынудило бы Франко перебросить туда часть своих сил. Правительство дало приказ о наступлении, когда было уже слишком поздно — после падения Бильбао. С.Н.Т. распространяла в большом количестве листовку, предупреждавшую: «Будьте начеку!» и намекавшую, что «определенная партия» (имелись в виду коммунисты) готовит государственный переворот. Кроме того, все боялись вторжения фашистов в Каталонию. Ранее, по пути на фронт, я видел мощные укрепления, сооружавшиеся в десятках миль за линией фронта. В Барселоне всюду строились новые бомбоубежища. Часто объявлялись воздушные тревоги и предупреждения об опасности морского десанта. Как правило, тревоги были ложными, но каждый раз, когда взывали сирены, город погружался на долгие часы в темноту, а оробевшие жители кидались в подвалы. Город кишел полицейскими агентами. Тюрьмы были переполнены заключенными, арестованными еще в дни майских боев, а кроме того, то и дело арестовывались — по одному, по двое — анархисты и члены Р.О.У.М. Насколько было известно, ни одного из арестованных не судили, им не предъявляли никаких обвинений — даже в «троцкизме». Людей просто арестовывали и держали в тюрьме, обычно в камере-одиночке. Боб Смайли все еще сидел в тюрьме в Валенсии. Единственное, что мы узнали, это



то, что ни представителю I.L.P. в городе, ни адвокату не позволяли увидеться с ним. Все чаще и чаще арестовывали иностранцев — бойцов интернациональной бригады и ополченцев. Обычно их бросали в тюрьму по обвинению в дезертирстве. Никто толком не знал — это характерно для обстановки, — как относиться к ополченцам — считать ли их добровольцами или солдатами регулярной армии. Несколько месяцев назад каждого, кто записывался в ополчение, заверяли, что он находится здесь только по своей доброй воле и может, если пожелает, демобилизоваться, когда настанет время его отпуска. Теперь оказалось, что правительство передумало, считает ополченцев солдатами регулярной армии и рассматривает желание вернуться домой, как дезертирство. Впрочем, даже в этом не было полной уверенности. На некоторых участках фронта командование по-прежнему удовлетворяло просьбы ополченцев о демобилизации. На границе увольнительные документы иногда признавали, а иногда — нет. В последнем случае, демобилизованных немедленно бросали в тюрьму. Число таких иностранных «дезертиров» достигло нескольких сот человек, но большинство из них было освобождено из тюрем после того, как в их родных странах поднялся шум вокруг незаконных арестов.

По всем улицам рыскали патрули штурмовой гвардии, гражданские гвардейцы по-прежнему занимали кафе и другие здания в стратегических пунктах города, многие здания P.S.U.C. все еще были забаррикадированы и обложены мешками с песком. В различных частях города появились контрольные пункты — гвардейцы или карабинеры останавливали там прохожих и проверяли документы. Все предупреждали меня, чтобы я не смел показывать карточки ополченца P.O.U.M., а предъявлял лишь паспорт и свидетельство о ранении. Служба в ополчении P.O.U.M. была достаточным основанием для подозрительного отношения к человеку. К ополченцам этой партии — раненым или находившимся в отпуску — придирались по мелочам, задерживали выплату жалованья. Газета «*La Batalla*» все еще выходила, но цензурные ограничения были так велики, что читать в газете было, по существу, нечего. Жесткой цензуре подвергались «*Solidaridad*» и другие анархистские газеты. Вышло новое распоряжение — изъятые цензурой материалы должны замещаться другими: нельзя было оставлять белых пятен. В результате, часто трудно было установить, по каким сообщениям прошли ножницы цензора. Нехватка продовольствия, подвергавшаяся в ходе войны периодическим колебаниям, в это время особенно обострилась. Не хватало хлеба, в дешевые сорта подмешивался рис. Солдатам в казармах давали вместо хлеба нечто, напоминавшее оконную замазку. Почти невозможно было достать молока и сахара, совсем исчез табак, если не считать контрабандных сигарет. Оливковое масло, которое испанцы используют в самых различных целях, можно было достать только ценой больших усилий. У магазинов, торговавших оливковым маслом, выстраивались длинные очереди женщин. За порядком в очередях следили конные гвардейцы, которые время от времени — смеха ради — направляли лошадей в толпу. Мелкой неприятностью было отсутствие разменной монеты. Серебро было изъято из обращения, а новая монета не отчеканена. Для бедноты это означало дополнительное ухудшение положения. Женщина, имевшая ассигнацию в десять пезет и простоявшая несколько часов в очереди, дойдя до прилавка, не могла ничего купить, ибо у продавца не было сдачи, а она не могла себе позволить истратить все деньги.

Нелегко передать кошмарную атмосферу того времени — особый род беспокойства, порождаемого слухами, газетной цензурой, постоянным присутствием вооруженных людей. Нелегко передать потому, что элементов, необходимых для создания такой атмосферы, в настоящее время в Англии нет. Политическая нетерпимость не стала еще в Англии явлением само собой разумеющимся. Есть, правда, мелкие случаи политического преследования — будь я шахтером, я предпочел бы, чтобы мой хозяин не знал, что я коммунист. Но «партийный активист», гангстер-громила, типичный для политики на континенте, встречается все еще редко, а стремление «ликвидировать» или «убрать» всех, кто с тобой не соглашается, до сих пор не воспринимается в Англии как нечто естественное. В Барселоне это казалось совершенно натуральным. «Сталинцы» были на коне и отсюда следовало, что «троцкистам» несдобровать. Больше всего опасались новой вспышки уличных боев, вину за которые снова свалили бы на Р.О.У.М. и анархистов. (К счастью, этого не произошло). Временами я ловил себя на том, что прислушиваюсь — нет ли выстрелов. Казалось, что город находится во власти какой-то могучей злой силы. Так думали все, и, как ни странно, у всех на устах были те же слова: «В городе кошмарная атмосфера. Мы живем, как в сумасшедшем доме». Впрочем, я, возможно, не имею права утверждать, что так чувствовали все. Кое-кто из английских гостей, прокатившихся в этот период по Испании, порхая из одного отеля в другой, не обнаружил в обстановке ничего странного. Герцогиня Атольская писала «Санди экспресс», 17 октября 1937 г.):

«Я побывала в Валенсии, Мадриде и Барселоне... В этих трех городах царит идеальный порядок и нет никаких следов вооруженного вмешательства. Все гостиницы, в которых я останавливалась, были не только «приличными», но и чрезвычайно комфортабельными, несмотря на трудности с маслом и кофе».

Английские путешественники — это их отличительная черта — по-настоящему не верят в то, что за стенами элегантных отелей существует другая жизнь. Надеюсь, что в конечном итоге удалось раздобыть немного масла для герцогини Атольской.

Меня послали в один из санаториев, находящихся в ведении Р.О.У.М. — в санаторий имени Маурина. Он находился в предместье Барселоны, у подножья Тибидабо, горы странной формы, нависающей над городом. Легенда гласит, что с этой горы сатана показывает Христу землю. Дом принадлежал раньше какому-то богачу и был реквизирован во время революции. Здесь долечивались раненые, — в частности, бойцы, потерявшие конечности. Было и несколько англичан: Вильяме, раненый в ногу, восемнадцатилетний Стаффорд Коттман, которого прислали с фронта с признаками туберкулеза, Артур Клинтон, носивший разбитую левую руку на длинной проволочной растяжке, которую в испанских госпиталях называли аэропланом. Моя жена продолжала жить в отеле «Континенталь» и я каждый день приезжал в Барселону. По утрам я ходил в Центральный госпиталь на электротерапию. Это была не очень приятная процедура — от колючих электрических ударов дергались все мускулы моей руки. Но это помогало — во всяком случае, начали двигаться пальцы и боль немного утихла. Мы с женой решили, что нам следует, как можно скорее, вернуться в Англию. Я очень ослаб, лишился, казалось, навсегда, голоса, доктора говорили, что

я буду годен к фронтовой службе не раньше, чем через несколько месяцев. Рано или поздно мне нужно было подумать о заработке; кроме того, не было особого смысла оставаться в Испании и есть местный хлеб, в котором так нуждались другие. Но основные поводы моего желания уехать, были все же эгоистического порядка. Мне надоела страшная атмосфера политических подозрений и ненависти, осточертели улицы, переполненные вооруженными людьми, воздушные налеты, окопы, пулеметы, скрежет трамваев, чай без молока, пища, пропитанная оливковым маслом, табачный голод, — одним словом, почти все, что неразрывно связалось для меня с Испанией.

Доктора в Центральном госпитале засвидетельствовали мою непригодность к военной службе, но чтобы получить увольнение из армии мне надо было явиться на медицинскую комиссию в один из прифронтовых госпиталей, а затем отправиться в Сиетамо, чтобы получить на свой документ печать в штабе ополчения R.O.U.M. В это время с фронта приехал Копп; он весь сиял. Копп участвовал в боях и заверял, что наконец-то Хуэска будет взята республиканцами. Правительство перебросило под Хуэску войска с мадридского фронта, сконцентрировало тридцать тысяч человек и большое число самолетов. Итальянцы, которых я видел по дороге в Таррагону, участвовали в наступлении на дорогу в Яку, но имели много убитых и потеряли два танка. Тем не менее, заверил Копп, Хуэска обязательно падет. (Увы! Предсказание не оправдалось. Город устоял. Газетная ложь по этому случаю достигла размеров настоящей оргии). А пока Копп отправлялся в Валенсию для разговора с военным министром. При нем было письмо от генерала Позаса, командовавшего теперь Восточной армейской группировкой, — обычное в таких случаях письмо, представлявшее Коппа человеком «достойным доверия» и рекомендовавшее использовать его для специальных заданий в инженерных войсках (Копп был по специальности инженером). Он выехал в Валенсию в тот же день, когда я поехал в Сиетамо, — 15 июня.

В Барселону я вернулся только через пять дней. Грузовик привез меня вместе с группой бойцов в Сиетамо примерно в полночь. Едва мы явились в штаб ополчения R.O.U.M., как нас выстроили и — даже не спрашивая имен — стали раздавать винтовки и патроны. Ожидалась атака, и резервы могли понадобиться в любую минуту. У меня в кармане была медицинская справка, но мне было неловко отказаться пойти вместе со всеми. Я прикорнул на земле, подложив под голову ящик с патронами. Настроение было скверное. Ранение расшатало нервы, — думаю, что это обычное явление. Перспектива оказаться снова под огнем страшно меня пугала. Но здесь снова вступила в свои права испанская *тапана* — завтра, — в конце концов обошлись без нас. На следующее утро я предъявил свою медицинскую справку и пошел увольняться. Для этого мне пришлось совершить несколько долгих, утомительных путешествий. Меня гоняли из госпиталя в госпиталь — Сиетамо, Барбастро, Монзон, потом снова Сиетамо, чтобы поставить штамп на справку, и обратно через Барбастро и Лериду. Весь транспорт был мобилизован на переброску войск под Хуэску, на дорогах царил хаос. Помню, что я ночевал в самых неподходящих местах — раз в госпитальной постели, другой раз — в канаве, потом на какой-то узенькой скамейке, с которой я среди ночи свалился, а однажды в муниципальном общежитии в Барбастро. Отойти от железной дороги значило целиком отдаться на милость попутных грузовиков. Я простаивал на обочине дороги по три-четыре часа, вместе с группками хмурых крестьян, нагру-

женных узлами с утками и кроликами. Когда наконец, после неустанный махания проезжающим машинам, битком набитым людьми, ящиками с амуницией, буханками хлеба, останавливался грузовик, соглашавшийся вас подвезти, начиналась тряска по кошмарной дороге. Она превращала человека в отбивную. Ни одна лошадь не подбрасывала меня так высоко, как эти грузовики. Ехать на них можно было, только сбившись всем в тесную кучу и держась друг за друга. К своему стыду, я обнаружил, что еще не могу без чужой помощи влезть на грузовик.

Ночь я переспал в госпитале в Монзоне, куда прибыл на медицинскую комиссию. Рядом со мной лежал штурмовой гвардеец, раненый в лоб, над левым глазом. Он отнесся ко мне дружелюбно и угостил сигаретами. Я сказал: «В Барселоне нам бы пришлось стрелять друг в друга». И мы посмеялись. Любопытно, как меняется настроение по мере приближения к фронту. От взаимной ненависти приверженцев различных партий почти не остается следа. Ни разу, за все время, что я был на фронте, никто из членов P.S.U.C. не отнесся ко мне недружелюбно только из-за того, что я состоял в ополчении P.O.U.M. Зато такая вражда была типична для Барселоны или других мест, еще более отдаленных от линии фронта. В Сиетамо было много штурмовых гвардейцев. Их прислали из Барселоны для участия в атаке на Хуэску. Гвардия, в принципе, не предназначалась для фронтовой службы. В Барселоне гвардейцы были хозяевами улицы, но на фронте на них, не нюхавших пороха, свысока поглядывали даже пятнадцатилетние мальчишки-ополченцы, просидевшие много месяцев в окопах.

В монзонском госпитале доктор, как полагается в таких случаях, потаскал меня за язык, всунул в горло зеркальце и весело заверил, что голос у меня пропал навсегда. Потом он подписал медицинское свидетельство. Пока я дожидался приема, в хирургической делали операцию без наркоза — почему раненого не усыпили, я не знаю. Операция длилась целую вечность, крик не прекращался. Когда я вошел в хирургическую, всюду валялись стулья, а на полу блестели лужи крови и мочи.

Подробности этой моей последней поездки запечатлелись в памяти с удивительной четкостью. Я воспринимал все гораздо яснее, чем в предыдущие месяцы. Увольнение с печатью 29 дивизии и свидетельство доктора, признавшего меня негодным к службе, были у меня на руках. Я мог вернуться в Англию, а следовательно, чуть ли не впервые чувствовал себя в состоянии повнимательнее взглянуть на Испанию. У меня оказался целый день на осмотр Барбастро — поезд отходил только один раз в сутки. Раньше я видел Барбастро лишь мельком и лицо города представилось мне лицом войны — те же серые тона, грязь, холод, ревущие грузовики, замызганные солдаты. Сейчас Барбастро выглядел иначе. Бродя по городу, я обнаружил, что в нем много симпатичных извилистых улочек, старых каменных мостов, винных лавочек с бочками высотой в человеческий рост, по бокам которых стекала влага. Я стоял и глядел, как ремесленник мастерит бурдюк и вдруг обнаруживал, что бурдюки шьются мехом внутрь, шерсть не удаляется и поэтому, когда мы пьем из такого бурдюка, мы пьем настойку на козьем волосе. Я месяцами пил из бурдюков, не подозревая об этом. Вдоль окраины города текла мелкая изумрудно-зеленая речушка. Посреди речки высилась отвесная скала, в которую были врублены домики. Из окон этих домов можно было плевать прямо в воду, журчащую в тридцати метрах внизу. Бесчисленные голуби гнездились в расселинах скалы. В Лериде я видел старые разваливающиеся

дома, на карнизах которых свили свои гнезда тысячи и тысячи ласточек. Вблизи извилистая кромка ласточкиных гнезд напоминает нарядные лепные украшения периода рококо. Странно, что пробыв шесть месяцев в Испании, я заметил все это впервые. С бумагами о демобилизации я вновь почувствовал себя человеком и даже немножко туристом. Пожалуй впервые, я ощутил, что действительно нахожусь в Испании, в стране, которую мечтал посетить всю свою жизнь. Мне казалось, что на тихих улочках Барбастро и Лериды я вдруг улавливаю отблеск, далекий отголосок той несуществующей Испании, которую творит наше воображение. Вот они, белые горные цепи-сьерры, стада коз, казематы инквизиции, мавританские дворцы, извивающиеся черные вереницы мулов, серые оливковые деревья и лимонные рощи, девушки в черных мантильях, вино Малаги и Аликанте, соборы, кардиналы, бой быков, цыгане, серенады, — словом, Испания. Она пленила мое воображение больше всякой другой европейской страны. Обидно, что попав, наконец, сюда, я смог увидеть только этот северо-восточный уголок, да к тому же в период войны и, в довершение всего, — зимой.

В Барселону я приехал поздним вечером. Нечего было и думать поймать такси, чтобы добраться до санатория, расположенного за городом, и я пошел в отель «Континенталь», предварительно закусив по пути. С официантом отеческого вида я заговорил о дубовых, с медными обручами, кружках, в которых подают вино. Я сказал, что хотел бы купить набор таких кружек, чтобы захватить их домой на память об Испании. Официант понимающе закивал: «Красивые, не правда ли? Но сегодня их не купить. Таких кружек больше не делают. Вообще больше ничего не делают. Война — какая жалость!» Мы сошлись во мнениях. Я снова почувствовал себя туристом. Официант вежливо справился, понравилась ли мне Испания, приеду ли я еще раз? О, да, я вернусь в Испанию. Мирный этот разговор запомнился по контрасту с тем, что произошло сразу же после него.

Войдя в отель, я увидел в холле мою жену. Она встала и пошла ко мне с видом, показавшимся мне чрезмерно непринужденным. Жена обвила рукой мою шею и с очаровательной улыбкой, обращенной к людям, сидевшим в холле, прошептала мне в ухо:

— Уходи!

— Что?

— Немедленно уходи отсюда!

— Что?

— Не стой здесь! Выйдем отсюда!

— Что? Почему? Что все это значит?

Она взяла меня за руку и повела к лестнице. Нам встретился француз — не назову его имени, ибо не будучи связанным с P.O.U.M., он помогал нам во время беспорядков. Француз взглянул на меня.

— Слушай! Ты не должен здесь появляться. Быстро уходи отсюда и спрячься, прежде чем они позвонят в полицию.

Возле лестницы ко мне, оглядываясь с опаской, подбежал лифтер и на ломаном английском сказал, чтобы я уходил отсюда. До меня все еще не доходил смысл происходящего.

— Что все это значит? — спросил я жену, едва мы вышли на улицу.

— Неужели ты не слышал?

— Нет. А что я должен был слышать?

— Р.О.У.М. запрещена. Они захватили все здания. Почти все в тюрьме. Говорят, что начались расстрелы.

Так вот оно что. Нам нужно было найти место, чтобы сесть и поговорить. Все большие кафе на Рамблас были забиты полицией, но мы нашли тихое кафе на боковой улочке. Жена рассказала мне, что произошло за время моего отсутствия.

15 июня полиция внезапно арестовала Андреев Нина в его кабинете и в тот же вечер совершила налет на гостиницу «Фалкон», арестовав всех, кто там был, главным образом приехавших в отпуск ополченцев. Гостиница была немедленно превращена в тюрьму. Очень скоро она оказалась до предела набитой заключенными. На следующий день Р.О.У.М. объявили нелегальной организацией и закрыли все бюро, книжные лавки, санатории, центры Красной помощи. Одновременно полиция начала без разбора арестовывать всех людей, имевших хоть какое-нибудь отношение к Р.О.У.М. В течение одного-двух дней были арестованы почти все сорок членов исполнительного комитета партии. Одному или двум удалось, кажется, скрыться, но полиция применила простой способ, к которому часто прибегали обе стороны в этой войне, — задержала жен в качестве заложниц. Установить число арестованных не было возможности. Моя жена слышала, что в одной только Барселоне бросили в тюрьму четыреста человек. Сейчас я думаю, что уже тогда число арестованных было значительно больше. Кого только не арестовывали! Были случаи, когда полиция не останавливалась перед арестом раненых ополченцев, лежавших в госпиталях.

Было от чего прийти в отчаяние. Что все это значило? Я мог еще понять, что они запретили Р.О.У.М., но за что арестовывали людей? Мне казалось — ни за что. Запрещение Р.О.У.М. приобретало как бы ретроспективную силу. Р.О.У.М. была объявлена нелегальной организацией, а следовательно, каждый кто когда-либо был ее членом, нарушал закон. Как обычно, никому из арестованных не предъявили никакого обвинения. Но это не мешало валенсийским коммунистическим газетам рассказывать дикие истории о гигантском «фашистском заговоре», о радиосвязи с врагом, документах, написанных невидимыми чернилами и т. д. и т. д. Я уже рассказал об этом выше. Знаменательно было лишь то, что все эти истории появились только в валенсийских газетах. Думаю, что не ошибусь, сказав, что ни в одной барселонской газете — коммунистической, анархистской или республиканской — не было ни слова ни о заговоре, ни о запрещении Р.О.У.М. О характере обвинений, предъявленных руководителям Р.О.У.М., мы узнали не из испанских, а из английских газет, пришедших в Барселону день или два дня спустя. Мы не знали еще в то время, что правительство не несет ответственности, за обвинения в предательстве и шпионаже и что впоследствии сами члены кабинета опровергнут эти обвинения. Мы знали только — в общих чертах, — что руководители Р.О.У.М. и, по-видимому, мы все, обвиняемся в сотрудничестве с фашистами. Уже пошли слухи, что заключенных тайком расстреливают в тюрьмах. Тут было много преувеличения, хотя в ряде случаев расстрелы, несомненно, имели место. Так, трудно сомневаться в факте расстрела Нина. После ареста, Нина перевели в Валенсию, оттуда в Мадрид, а уже 21 июня по Барселоне пошел слух, что он расстрелян. Позднее этот слух приобрел более четкую форму: Нина застрелила в тюрьме тайная полиция, а тело его выкинули на улицу. Об этом

рассказывали разные люди, в том числе Федерико Монтсенис, бывший член правительства. С этого дня никто больше не слышал о Нине. Позднее, когда делегации из разных стран спрашивали членов правительства, те выкручивались как могли, заявляя, что им известно только об исчезновении Нина, но ничего не известно о его местопребывании. В некоторых газетах появилось даже сообщение, что Нин бежал на фашистскую территорию. Никаких доказательств предъявлено не было, а министр юстиции Ирухо заявил потом, что испанское агентство печати фальсифицировало официальное коммюнике. Во всяком случае, очень мало вероятно, чтобы такому важному политическому заключенному как Нин позволили бежать. Думаю, что его убили в тюрьме.

Число политических заключенных росло и росло, пока не стало исчисляться тысячами (не считая фашистов). Характерной чертой было самовольство низших полицейских чинов. Многие из арестов были явно незаконными, но когда, по приказу начальника полиции, арестованные освобождались, некоторых из них снова брали под стражу в воротах тюрьмы и препровождали в «секретные тюрьмы». Типичным был случай с Куртом Ландау и его женой. Их арестовали примерно 17 июня и Ландау немедленно «исчез». Пять месяцев спустя, его жена была еще в тюрьме, без суда и без известий от мужа. Она объявила голодовку, после чего министр юстиции известил ее о смерти мужа. Вскоре жена Ландау была освобождена, но почти сразу же снова арестована и брошена в тюрьму. Было заметно, что полиция, по крайней мере на первых порах, совершенно не заботилась о том, как ее действия скажутся на ходе войны. Полицейские, даже не имея ордера на арест, не задумываясь арестовывали военных, занимавших важные командные посты. В конце июня наряд полиции, посланный из Барселоны, арестовал неподалеку от линии фронта генерала Хозе Ровира, командира 29 дивизии. Его бойцы послали в военное министерство делегацию протеста. Оказалось, что ни военное министерство, ни начальник полиции Ортега ничего не знали об аресте Ровиры. Пусть это не самое главное, но меня лично больше всего возмущало то, что фронтовым частям не сообщали ни слова обо всех этих событиях. Как я уже отметил, никто на передовой не знал о запрещении Р.О.У.М. Все штабы ополчения Р.О.У.М., центры Красной помощи и другие органы работали как ни в чем не бывало, и даже 20 июня в Лериде, то есть всего в 160 километрах от Барселоны, никто ничего не слышал о происходившем. Барселонские газеты ни словом не обмолвились об арестах и преследованиях (валенсийские газеты, изоц-рявшиеся в выдумывании небылиц о том, что члены Р.О.У.М. — фашистские шпионы, на Арагонский фронт не попадали), а ополченцев Р.О.У.М., выезжавших в отпуск в Барселону, арестовывали, в частности, для того, чтобы они, вернувшись на фронт, не рассказали другим, что творится в городе. Пополнение, с которым я 15 июня направился на фронт, было, как видно, последним. Я до сих пор не понимаю, как им удалось сохранить все эти события в тайне, учитывая, что грузовики, да и другие машины, все еще курсировали между фронтом и тылом. Нет, однако, никакого сомнения, что секрет сохранялся и, как я потом узнал от других, еще несколько дней фронтовики оставались в неведении. Причина очевидна. Начиналось наступление на Хуэску. Ополчение Р.О.У.М. все еще сохраняло свою самостоятельность и кто-то, видимо, опасался, что если бойцы узнают о происходящем, они откажутся воевать. На деле же, когда новость достигла фронта, ничего не произошло. В последовавших

боях погибло немало бойцов, которые так и не узнали, что газеты, выходившие в тылу, называли их фашистами. Это простить нелегко. Есть обычай скрывать плохие вести от солдат на передовой. Зачастую это оправдано. Но совсем другое дело, посылать людей в бой, даже не говоря им, что за их спиной партию, к которой они принадлежали, объявили вне закона, их руководителей обвинили в измене, а друзей и родственников бросили в тюрьму.

Моя жена стала рассказывать, что произошло с нашими друзьями. Кое-кому из англичан и других иностранцев удалось перейти границу. Вильяме и Стаффорд Коттман избежали ареста во время облавы в санатории «Маурин» и где-то скрывались. Скрывался и Джон Мак Нэр, находившийся во Франции, когда Р.О.У.М. запретили. Он вернулся в Испанию, не желая находиться в безопасности, когда его друзья рискуют головой. А в остальном рассказ жены сводился к монотонным повторениям: того-то взяли, того-то взяли. Они взяли, кажется, почти всех. Но известие об аресте Джорджа Коппа совершенно меня ошеломило.

— Коппа? Но я думал, что он в Валенсии.

Оказалось, что Копп вернулся в Барселону: он прибыл с письмом, адресованным военным министерством полковнику, командовавшему инженерными частями на восточном фронте. Копп, конечно, знал, что Р.О.У.М. запрещена, но ему, должно быть, в голову не могло прийти, что полиция окажется настолько безголовой, что арестует человека, едущего на фронт с важным военным заданием. Он завернул в «Континенталь», чтобы захватить свой вещевой мешок. Служащие отеля задержали его под каким-то предлогом, пока не явилась извещенная ими полиция. Меня арест Коппа взбесил. Копп был моим личным другом, я служил под его командованием долгие месяцы. Мы вместе были под неприятельским огнем, и я знал многое о жизни этого человека. Он пожертвовал всем — семьей, родиной, материальным благополучием, только чтобы приехать в Испанию и сражаться с фашизмом. Покинув Бельгию без разрешения, вступив в иностранную армию, числясь офицером запаса бельгийских вооруженных сил, а — до этого — помогая нелегально производить боеприпасы для испанского правительства, Копп рисковал, вернувшись на родину, многолетним тюремным заключением. Он находился на фронте с октября 1936 года. Пройдя путь от рядового бойца ополчения до майора, он участвовал во множестве боев, был ранен. Во время майских событий Копп, чему я сам был очевидцем, предотвратил схватку в нашем районе и наверняка спас жизнь десяти-двадцати человек. И за все это они отплатили ему тюрьмой. Злиться — значит тратить время попусту, но я не мог подавить в себе злобы при виде бессмысленности всего происходящего.

Тем временем, они не спешили с арестом моей жены. Хотя она оставалась в «Континентале», полиция ее не трогала. Было очевидно, что ее используют как приманку. Но несколько дней спустя, на рассвете в наш номер нагрянуло шесть полицейских в штатском. Они произвели обыск и забрали все бумаги, до последнего листка, оставив, к счастью, паспорта и чековые книжки. Они забрали мои дневники, все наши книги, газетные вырезки, накопившиеся за несколько месяцев (я часто задавала себе вопрос, зачем они могли им понадобиться), мои военные сувениры, все наши письма. (Полицейские захватили также письма, полученные мной от читателей. На некоторые из них я не успел ответить и, конечно, у меня нет адресов. Если кто-либо написал мне о моей последней книжке и не получил ответа, прошу принять эти



строки, как извинение). Позднее я узнал, что полиция забрала также мои вещи, находившиеся в санатории Маурин, в том числе и грязное белье. Они должны были полагали, что найдут на нем послания, написанные симпатическими чернилами.

Было очевидно, что моей жене лучше всего оставаться в гостинице. Если бы она попыталась исчезнуть, за ней сразу же началась бы погоня. Но мне нужно было спрятаться. Эта перспектива вызывала у меня отвращение. Несмотря на волну арестов, я не мог себя убедить, что мне грозит опасность. Это казалось мне слишком бессмысленным. Подобный отказ принять всерьез эти idiotские аресты привел Коппа в тюрьму. Но я все же продолжал спрашивать себя, за что меня могут арестовать? Что я сделал? Верно, во время майских боев я ходил с оружием, но с оружием ходило тогда, по меньшей мере, сорок-пятьдесят тысяч человек. Мне совершенно необходимо было выспаться, и я готов был рискнуть и пойти в гостиницу, но жена об этом и слышать не хотела. Терпеливо разъясняла она мне положение вещей. Не имеет никакого значения, что я сделал или не сделал. Полиция не охотится за преступниками; наступило царство террора. Я не виноват ни в чем, кроме «троцкизма». Одно то, что я служил в ополчении Р.О.У.М. — вполне достаточное основание для моего ареста. Бессмысленно цепляться за английский принцип: ты в безопасности, если ты не нарушил закон. Здесь законы диктовала полиция. Оставался только один выход — укрыться и замести все следы моей связи с Р.О.У.М. Мы просмотрели все документы, которые я носил с собой в карманах. Жена заставила меня порвать ополченское удостоверение, на котором большими буквами значилось Р.О.У.М., фотографию группы бойцов, снявшихся на фоне флага Р.О.У.М. За такие вещи сейчас сажали в тюрьму. Я не стал рвать свидетельство об увольнении со службы. На нем, правда, стояла печать 29 дивизии, а это было опасно, ибо полиция вероятно знала, что 29 дивизия была поумовская. Но без этого свидетельства меня могли арестовать как дезертира.

Теперь надо было подумать о том, как выбраться из Испании. Не было смысла оставаться здесь, зная, что рано или поздно, все равно попадешь в тюрьму. Сказать правду, и я, и моя жена охотно остались бы в Испании, чтобы посмотреть, что же будет дальше. Но я догадывался, что испанская тюрьма — вещь паршивая (на деле тюрьмы оказались гораздо хуже, чем я мог себе представить), что попав в тюрьму, никогда не известно, когда ты из нее выйдешь, а здоровье мое никуда не годилось, не говоря о болях в руке. Мы условились встретиться на следующий день в британском консульстве, куда должны были прийти также Коттман и Макнэр. Мы рассчитывали, что на оформление паспортов уйдет несколько дней. Прежде чем выехать из Испании, нужно было проштемпелевать паспорт в трех местах — у начальника полиции, у французского консула и у каталонских иммиграционных властей. Опасен был, конечно, начальник полиции, но мы надеялись, что британский консул как-то уладит все эти дела, не подав вида, что мы были связаны с Р.О.У.М. В полиции, конечно, имелся список иностранцев, подозреваемых в «троцкизме» и, вероятнее всего, наши имена значились в этом списке, но в случае удачи можно было все-таки проскочить границу. Ведь Испания — не Германия, испанская неразбериха и *таїана* давали надежду на благополучный исход. Испанская тайная полиция кое в чем напоминает гестапо, но ей не хватает гестаповской оперативности.

На этом мы расстались. Жена вернулась в гостиницу, а я пошел бродить по улицам в надежде найти место для сна. Настроение, помню, было мрачное, все вокруг мне опостылело. Я мечтал провести ночь в постели! Но пойти мне было некуда. Р.О.У.М. практически не имела подпольной организации. Руководители партии безусловно считались с возможностью, что она будет поставлена вне закона, но они не ожидали, что с моментом запрета развернется «охота на ведьм», которая примет такой размах. Руководство партии понятия не имело о предстоящих событиях и, как ни в чем не бывало, продолжало перестраивать здание Р.О.У.М. до того самого дня, когда партия была запрещена. В результате у Р.О.У.М. не было ни сборных пунктов, ни явочных квартир, которые должна иметь каждая революционная партия. Кто знает, сколько людей, скрывавшихся от полиции, ночевало в эту ночь на улице. Пять дней тяжелой дороги, во время которой я спал в самых неподходящих местах, давали себя знать; мучила сильная боль в руке, а теперь это дурачье охотится за мной и мне придется снова спать на земле. Этим ограничивались мои мысли. Для политических размышлений в голове не оставалось места. Так со мной бывает всегда. Я заметил, что когда я впутываюсь в войну или в политику, то не ощущаю ничего, кроме физических неудобств и глубокого желания поскорее дождаться конца этой чертовской бессмыслицы. Позднее я смогу оценить истинный смысл событий, но в их ходе мне хочется лишь одного — чтобы они поскорее кончились. Черта характера, возможно, позорная.

Я долго брел по улицам и оказался где-то в районе главной больницы. Я выискивал место, где мог бы спокойно улечься, не опасаясь визита дотошного полицейского, которому вздумается проверить мои документы. Заглянул в бомбоубежище, но оно было только недавно выкопано, — с его стен сочилась вода. Потом я увидел развалины церкви, разграбленной и сожженной во время революции. Сохранился лишь остов — четыре стены без крыши, а внутри груды развалин. Я пошарил в полутьме, нашел какую-то яму и улегся в нее. На осколках кирпича лежать не очень-то удобно, но к счастью ночь была теплая и я поспал несколько часов.

## 14

Скрываться от полиции в таком городе как Барселона особенно неприятно, ибо все кафе открываются очень поздно. Если спишь на улице, то просыпаешься обычно на рассвете, а ни одно барселонское кафе не открывается раньше девяти. Прошло несколько часов, прежде чем я смог выпить чашку кофе и побриться. Странными казались старые анархистские плакаты на стене парикмахерской, извещавшие, что чаевые запрещены. «Революция разбила наши цепи!» — гласил плакат. Мне захотелось предупредить парикмахеров, как бы им не проморгать и вновь не оказаться в цепях.

Я поплелся в сторону центра. Красные флаги были сорваны со здания P.O.U.M., вместо них там вывесили национальные флаги. В окнах дома Красной помощи на *Plaza de Catalunya* не осталось почти ни одного стекла. Их выбили, для забавы, полицейские. На поумовских стендах уже не было книг, а рекламный щит на Рамблас украшала антипоумовская карикатура — маска, а под ней фашистская рожа. В конце улицы, возле набережной, я увидел странную картину: целая шеренга ополченцев, еще обтрепанных и покрытых фронтовой грязью, устало вытянулась на стульях перед чистильщиками сапог. Я сообразил, кто они такие и даже узнал одного из них. Это были бойцы P.O.U.M., приехавшие вчера в отпуск с фронта и узнавшие о запрещении партии. Им пришлось ночевать на улице, чтобы уйти от облавы. У ополченца P.O.U.M., очутившегося в эти дни в Барселоне, было только два пути — в тюрьму или в подполье. Малоприятный выбор для человека, пролежавшего три или четыре месяца в окопе на передовой.

Мы оказались в странном положении. Ночью нужно было скрываться, днем — можно было вести почти нормальную жизнь. Каждый дом, в котором жили сторонники P.O.U.M. был, или мог оказаться под наблюдением. Нельзя было также пойти в гостиницу, ибо вышло распоряжение, обязывавшее хозяев гостиниц немедленно извещать полицию о появлении новых лиц. По существу это означало, что спать нужно было на улице. Зато днем, в таком большом городе как Барселона можно было слоняться по улицам, чувствуя себя в сравнительной безопасности. Улицы кишели гражданскими гвардейцами, штурмовыми гвардейцами, карабинерами и обычной полицией, а также неведомым количеством шпииков в штатском. Но и они не могли останавливать всех прохожих, поэтому человек, не особенно бросавшийся в глаза своим видом, мог гулять незамеченным. Нужно было только не вертеться возле зданий P.O.U.M. и избегать тех кафе и ресторанов, в которых официанты знали вас в лицо. Значительную часть дня, да и следующий день, я провел в городской бане. Это позволяло убить время и не особенно мозолить глаза кому не следует. На беду эта мысль пришла в голову многим другим и несколько дней спустя, уже после моего отъезда из Барселоны, полиция совершила налет на одну из бань и арестовала большое число «троцкистов» в костюме Адама.

Идя по Рамблас, я наткнулся на одного из раненых, лечившихся в санатории «Маурин». Мы обменялись незаметным для других кивком головы, привычным для того времени, и сумели, не обращая на себя внимания, встретиться в кафе на этой же улице. Он избежал ареста во время полицейского налета на санаторий, но, как и другие, оказался на улице. Мой знакомый был в одной рубашке с коротким рукавом — пиджак он бросил во время бегства — и не имел ни гроша за душой. Он рассказал мне, как один гвардеец сорвал со стены большой портрет Маурина и растоптал его ногами. Маурин (один из основателей P.O.U.M.) находился в плену у фашистов, были основания полагать, что его уже расстреляли.

Я встретил свою жену в британском консульстве в 10 часов. Вскоре явились Макнэр и Коттман. Первым делом они сообщили мне, что Боб Смайли умер. Он умер в валенсийской тюрьме; от чего никто точно не знал. Его немедленно похоронили, а Дэвиду Мюррею, представителю I.L.P. в городе, отказали в разрешении осмотреть тело.

Я, конечно, сразу же решил, что Смайли расстреляли. Так в то время думали все. Но теперь я допускаю, что мы ошибались. Позднее, причиной его смерти называли аппендицит, а сидевший с ним заключенный, после выхода из тюрьмы, рассказывал, что Смайли действительно лежал в камере больной. Поэтому не исключено, что у Смайли был аппендицит, а Мюррею не показали тела просто так, на зло. Замечу, однако, что Бобу Смайли было всего двадцать два года и что физически он был одним из самых крепких людей, каких я когда либо встречал. Он был, я думаю, единственным из всех моих знакомых — англичан и испанцев, — кто за три месяца пребывания в окопах ни разу не болел. Такие здоровяки обычно не умирают от аппендицита, если получают необходимый уход. Но увидев испанские тюрьмы — помещения, наскоро переделанные в тюрьмы для политических заключенных, — никто не поверил бы, что в них можно обеспечить какой-либо уход за больными. Эти тюрьмы нельзя было назвать иначе как темницами. В Англии только в восемнадцатом веке можно было найти что-либо подобное. Людей набивали в маленькие комнатухи так, что они не могли даже лечь, часто их держали в подвалах или других темных помещениях. Причем это не было временной мерой — бывали случаи, когда арестованные по четыре или пять месяцев не видели дневного света. Заключенным давали грязную пищу в мизерном количестве — две тарелки супа и два куска хлеба в день. (Несколько месяцев спустя пища как будто немного улучшилась). Я не преувеличиваю. Спросите любого политического заключенного, сидевшего в испанской тюрьме. У меня имеются сведения об испанских тюрьмах из самых различных источников и все они настолько сходны между собой, что сомневаться в их правдивости не приходится. К тому же я и сам несколько раз видел испанскую тюрьму изнутри. Мой английский друг, попавший в тюрьму позже, писал, что его личный опыт «делает историю Смайли гораздо понятнее». Смерть Смайли простить нелегко. Этот храбрый и одаренный юноша отказался от карьеры в университете Глазго ради того, чтобы приехать в Испанию и сражаться с фашизмом; он вел себя на фронте — я сам тому свидетель — с безукоризненным мужеством. И вот в награду его бросили в тюрьму и обрекли на смерть бездомной собаки. Я знаю, что во время большой и кровавой войны не принято поднимать шум из-за гибели одного человека. Одна бомба, сброшенная с самолета на людную улицу, причиняет больше страданий, чем много политических

арестов. Но смерть, подобная смерти Смайли, возмущает своей абсолютной бессмысленностью. Идя в бой, человек считается с возможностью гибели; но оказаться в тюрьме без всякой причины, если не считать таковой слепую злобу, а затем умереть в полном одиночестве — это совсем другое дело. Я не вижу, каким образом подобные вещи, — а случай со Смайли отнюдь не был единственным, — могут приблизить победу.

В этот вечер моя жена и я повидались с Коппом. Можно было получить свидание с заключенным, если его не держали в полной изоляции, но было опасно приходить больше чем раз или два. Полиция следила заходящими и тех, кто навещал тюрьму слишком часто, брали на учет, как друзей «троцкистов», что вероятнее всего пахло тюрьмой для них самих. Это уже случилось не с одним.

Коппа не держали в камере-одиночке, и мы легко получили разрешение свидеться с ним. Когда нас пропускали сквозь стальные двери тюрьмы, я увидел знакомого мне по фронту бойца ополчения — испанца, конвоируемого двумя гвардейцами. Наши глаза встретились — и снова тот же таинственный кивок. Первым человеком, которого я увидел внутри самой тюрьмы, был американский ополченец, выехавший домой несколько дней назад. Документы у него были в полном порядке, но тем не менее его арестовали на границе, возможно, из-за вельветовых бриджей, которые носили ополченцы. Мы прошли один мимо другого, прикинувшись чужими. Это было ужасно. Я знал американца много месяцев, мы делили один окоп, он помогал нести меня после ранения. Но иначе поступить было нельзя. Всюду сновали гвардейцы в голубых мундирах. Лучше было не показывать, что ты знаешь слишком много арестованных, — подальше от беды.

Так называемая тюрьма представляла собой подвальное помещение бывшего магазина. Две комнаты примерно по двадцать квадратных футов каждая. В них набили человек сто. Мне показалось, что я попал в ньюгейтскую тюрьму, как она изображается на картинках XVIII века. Та же затхлая грязь, навал человеческих тел, никаких нар — лишь голый каменный пол, одна скамья и несколько драных одеял, тусклый свет, гофрированные стальные ставни загораживали окна. На мрачных стенах нацарапаны революционные лозунги — «Р.О.У.М. победит!», «Да здравствует революция!». Здесь уже целые месяцы держали политических заключенных. Оглушали десятки голосов. Был час свиданий. Набралось так много народу, что нельзя было и рукой двинуть. Почти все принадлежали к беднейшим слоям рабочего класса. Женщины развязали жалкие узелки с едой, принесенной мужьям или сыновьям. Среди заключенных было несколько раненых из санатория им. Маурина, в том числе двое с ампутированными ногами. Одного из них привезли в тюрьму без костылей и он прыгал на одной ноге. Я увидел паренька лет двенадцати; видимо, они арестовывали уже и детей. Воздух был пропитан вонью, обычной для помещений без санитарных устройств, в которых держат большое число людей.

Копп протолкался через толпу и подошел к нам. Его упитанное, свежее лицо почти не изменилось; он ухитрился сохранить в этом загаженном помещении свой мундир в чистоте и даже побрился. Среди заключенных был еще один офицер в форме Народной армии; проталкиваясь сквозь гущу заключенных, они козырнули друг другу; в этом жесте было что-то комичное. Копп казался в великолепном настроении. «Ну что же, — сказал он жизнерадостно, — нас, должно быть, всех расстреляют». При

слове расстреляют, мурашки пробежали у меня по спине. Совсем недавно в мое тело впилась пуля и память о ней была еще свежа. Не очень-то приятно думать о том, что то же самое случится с человеком, которого хорошо знаешь. В это время я был уверен, что все руководители Р.О.У.М., в том числе и Копп, будут расстреляны. Именно тогда до нас впервые дошел слух о смерти Нина и мы знали, что Р.О.У.М. обвиняют в предательстве и шпионаже. Все свидетельствовало о том, что последует большой сфабрикованный процесс, а за ним казнь ведущих «троцкистов». Ужасно видеть друга в тюрьме и знать, что ты ничем не можешь ему помочь. Ибо помочь ему было нельзя. Бесполезно было также обращаться к бельгийским властям, ибо Копп, прибыв сюда, преступил законы своей страны. Разговор вела, главным образом, моя жена; в этом шуме — писк, который издавали мои поврежденные голосовые связки, не был бы слышен. Копп рассказывал нам о друзьях, приобретенных им в тюрьме, о надзирателях, некоторые из которых были неплохими парнями, хотя случались и такие, что обижали и били заключенных позапуганнее; вместо еды, — по словам Коппа, — заключенным давали «свиные помои». К счастью, мы догадались принести пакет съестного и сигареты. Затем Копп рассказал нам об отнятых у него во время ареста документах. Среди них было письмо из военного министерства, адресованное полковнику, командовавшему инженерными частями восточного фронта. Полиция забрала документы и отказывалась их вернуть; хранились они, якобы, у начальника полиции. Может, если бы удалось их вырвать, положение Коппа изменилось бы.

Я сразу же сообразил, какую важность имеет этот документ. Такого рода официальное письмо, содержащее рекомендации военного министерства и генерала Позаса, подтвердило бы безупречность репутации Коппа. Но как доказать факт существования письма? Если письмо распечатали в бюро начальника полиции, можно было не сомневаться, что какой-нибудь негодяй уничтожил его. Получить обратно письмо мог, пожалуй только один человек: офицер, на чье имя оно было адресовано. Копп уже успел подумать об этом и написал полковнику письмо, которое он просил меня вынести украдкой из тюрьмы и послать. Но было ясно, что быстрее и надежнее отправиться к полковнику лично. Я оставил мою жену с Коппом, выбежал на улицу и после долгих поисков поймал такси. Это был бег наперегонки с временем. Была уже половина шестого, полковник наверное кончал в шесть, а завтра письмо могло оказаться Бог знает где — уничтожено или затеряно в хаосе документов, громоздившихся по мере того, как одного за другим арестовывали подозреваемых. Полковник работал в военном министерстве, на набережной. Когда я взбежал по лестнице министерства, штурмовой гвардеец загородил мне дорогу длинным штыком и потребовал «документы». Я помахал моим увольнительным удостоверением. Он вероятно не умел читать и пропустил меня — документ произвел видимо должное впечатление. Внутри помещение напоминало бесконечный лабиринт комнат, вившихся вокруг внутреннего двора; на каждом этаже сотни бюро. Как обычно в Испании, никто не имел ни малейшего представления, где находится кабинет, который я ищу. Я без устали повторял: *El coronel — jefe de ingenieros, Ejército de Este!*<sup>1</sup> Все улыбались и грациозно пожимали плечами. Каждый посылал меня в противоположном направлении. Я метался вверх и вниз по лестницам, по бесчисленным длинным коридорам,

---

<sup>1</sup> «Полковник, — начальник инженерных частей, восточный фронт!» (прим. пер.)

заканчивавшимся тупиками. Я был как в страшном сне: нескончаемые лестницы, таинственные люди, встречавшиеся мне в коридорах, столы, заваленные бумагами, стрекот пишущих машинок. А время шло, и чужая жизнь висела, быть может, на волоске.

И все же я успел и, к некоторому моему удивлению, меня приняли. Правда, не полковник, но его адъютант или секретарь. Маленький офицерик в ловко сидящей форме, с большими, косящими глазами, вышел ко мне в переднюю. Я изложил ему свою историю: я явился по поручению своего начальника майора Хорге Коппа, посланного с важным заданием на фронт и по ошибке арестованного. Письмо к полковнику носило конфиденциальный характер и его необходимо немедленно забрать. Я долго служил с Коппом, это замечательный офицер, нет сомнения, что арестован он по ошибке, полиция с кем-то его спутала и т. д. и т. д. Я настаивал на том, что Коппа послали на фронт со срочным заданием, понимая, что здесь мой главный козырь. Но все это должно быть звучало странно, на моем варварском испанском языке, с которого я то и дело срывался на французский. Хуже всего то, что мой голос почти сразу же сдал, и я лишь с большим трудом мог издавать какие-то квакающие звуки. Я боялся, что голос пропадет совсем, а маленькому офицеру надоест меня слушать. Потом я часто думал, чем он объяснял мой странный голос — пьянством или нечистой совестью.

Как бы то ни было, он терпеливо дослушал меня до конца, ежеминутно кивая головой, как бы сдержанно соглашаясь с моими словами. Да, вполне возможно, что произошла ошибка. Безусловно, нужно разобраться. *Mañana* — сказал офицер. Нет, не *mañana*, — запротестовал я. Дело не терпит отлагательств. Коппа уже ждут на фронте. И снова офицер как бы согласился. И тогда последовал вопрос, которого я боялся больше всего:

- В каких частях служил майор Копп?
- В ополчении P.O.U.M. — прозвучали роковые слова.
- P.O.U.M.!

Смесь удивления и тревоги была в этом восклицании. Следует помнить, на каком положении была тогда P.O.U.M. Шпиономания достигла высшей точки. Возможно, все незадачливые республиканцы день или два даже верили, что P.O.U.M. это ничто иное как одна огромная шпионская организация, которая содержит на немецкие деньги. Произнести слово P.O.U.M. перед офицером Народной армии означало почти то же самое, что явиться в лондонский кавалерийский клуб в дни скандала, вызванного «Красным письмом»<sup>2</sup> и объявить себя коммунистом. Темные глаза офицера скользнули косо по моему лицу. Последовала длинная пауза, после чего он медленно произнес:

- Вы говорите, что были с ним вместе на фронте. Значит и вы служили в P.O.U.M.?
- Да.

Он повернулся и нырнул в кабинет полковника. До меня доходили звуки оживленного разговора. «Кончено», — подумал я. Не видать нам письма Коппа. К тому

---

<sup>2</sup> «Письмо Зиновьева», опубликованное в английской прессе в октябре 1924 г., представляло собой, якобы, циркуляр Коминтерна о ведении революционной работы в рядах британской армии и организации восстания в стране. (прим. пер.)

же я признался, что служил в ополчении P.O.U.M.; сейчас позвонят в полицию и меня арестуют, чтобы прибавить к коллекции еще одного «троцкиста». Наконец, офицер вышел, надел фуражку и сухо предложил мне следовать за ним. Мы отправились к начальнику полиции. Идти надо было довольно долго, минут двадцать. Маленький офицер маршировал впереди меня строевым шагом. За всю дорогу мы не обменялись ни одним словом. Приемная начальника полиции была набита толпой субъектов самого неприятного вида, вероятнее всего, шпииков, доносчиков, продажных шкур всех мастей, топтавших у двери. Маленький офицер вошел в кабинет. Последовал длинный возбужденный разговор, иногда слышались яростные крики. Я ясно представлял себе их резкие жесты, поднятие плеч, удары кулаком по столу. Наконец, офицер вышел, красный, но с большим казенным конвертом в руке. Это было письмо Коппа. Мы одержали маленькую победу, которая, — как выяснилось позднее, — ничего не дала. Письмо было доставлено вовремя, но командиры Коппа оказались не в состоянии вытащить его из тюрьмы.

Офицер заверил меня, что письмо будет вручено кому следует. А Копп, — спросил я. — Нельзя ли освободить его из заключения? Офицер лишь пожал плечами. Это совсем другое дело. Причина ареста Коппа неизвестна, но я могу быть уверен в том, что будет проведено необходимое расследование. Больше говорить было не о чем, надо было распрощаться. Мы слегка поклонились друг другу, и тут произошло нечто странное и трогательное. Маленький офицер секунду колебался, потом шагнул вперед и мы обменялись рукопожатием.

Не знаю, смогу ли я передать, как глубоко тронул меня этот жест. Казалось бы, — всего лишь рукопожатие, не больше, но его можно было правильно оценить лишь на фоне того страшного времени, когда всюду царили подозрение и ненависть, ложь и слухи, а многочисленные плакаты вопили со всех сторон, что я и мне подобные — фашистские шпионы. И кроме того, следует помнить, что мы стояли в приемной начальника полиции, а вокруг нас роилась шайка доносчиков и провокаторов, каждый из которых мог знать, что меня разыскивает полиция. Поступок офицера можно сравнить с публичным обменом рукопожатиями с немцем во время первой мировой войны. Маленький офицер, думаю, поверил, что я все же не шпион. И все же, как хорошо, что он пожал мне руку!

Я останавливаюсь на этом рукопожатии, хотя сознаю, что оно может показаться мелочью, ибо вижу в нем проявление сугубо испанской черты — вспышки великодушия, на которую способен испанец в самые грозные минуты. У меня много скверных воспоминаний об этой стране, но я никогда не поминаю лихом испанцев. Всего лишь два раза я по-настоящему сердился на испанца, причем думая теперь об этих случаях, убеждаюсь, что оба раза я был неправ. Есть в этих людях щедрость, род благородства, столь несвойственного двадцатому веку. Именно это наводит на мысль, что в Испании даже фашизм примет формы сравнительно терпимые. Очень немногие испанцы обладают качествами, которых требует современное тоталитарное государство — дьявольской исполнительностью и последовательностью. Своеобразной иллюстрацией к сказанному может служить обыск в комнате моей жены, произведенный за несколько дней (точнее ночей) до случая с испанским офицером. Я жалею, что не стал свидетелем обыска, хотя не исключено, что будь я на месте, я бы, возможно, вспылал.



Полиция вела обыск в традиционном стиле, свойственном ОГПУ и гестапо. На рассвете раздался громкий стук в дверь и в комнату вошло шестеро мужчин. Они включили свет и сразу же заняли «стратегические» пункты в комнате, видимо, по заранее обдуманному плану. Затем полицейские с невероятной тщательностью обыскали обе комнаты (к номеру примыкала ванная). Они обстукивали стены, поднимали половики, ощупывали пол, мяли занавески, заглядывали под ванную и радиатор парового отопления; опорожнив все ящики комода и чемоданы, они рассматривали на свет каждый предмет туалета. Полицейские конфисковали все бумаги, в том числе и содержимое мусорной корзины, а также все наши книги. Обнаружив экземпляр гитлеровского «Майн кампф» на французском языке, они пришли в дикий восторг. Найди они только эту книгу, нас ничего бы уже не спасло, но немедленно за «Майн кампф» полицейские вытащили брошюру Сталина «Методы борьбы с троцкистами и другими двурушниками», которая их несколько успокоила. В одном из ящиков сыщики обнаружили несколько пачек папиросной бумаги. Они разорвали все пакеты и обследовали каждый листок отдельно, в поисках тайных записей. В общей сложности сыщики работали два часа. Но ни разу за все это время они не дотронулись до постели: в постели лежала моя жена. Под матрасом могло оказаться с полдюжины автоматов, а под подушкой — целый архив троцкистских документов. Полицейские даже не заглянули под кровать. Не думаю, чтобы ОГПУ вело себя подобным образом. Полиция почти безраздельно контролировалась коммунистами, и эти люди были, вероятнее всего, членами компартии. Но помимо этого, они были испанцы, а следовательно, не могли себе позволить поднять женщину с постели. Сыщики молчаливо обошли кровать стороной, что сделало весь их обыск бессмысленным.

В эту ночь Макнэр, Коттман и я спали в густой траве, на заброшенной строительной площадке. Ночь была холодна для того времени года и спали мы мало. Я помню долгие часы бесцельных блужданий, когда мы, проснувшись, убивали время, ожидая, когда, наконец, откроются первые кафе. Впервые за все время моего пребывания в Барселоне я пошел осмотреть кафедральный собор — образец современной архитектуры — одно из самых безобразных зданий в мире. Его украшали четыре зубчатых шпиля, формой напоминавшие винные бутылки. Собор, в отличие от большинства барселонских церквей, не был разрушен во время революции. Кое-кто утверждал, что его пощадили как «художественную ценность». Я думаю, что не взорвав собор, когда была такая возможность, анархисты доказали свой скверный вкус, хотя они и вывесили на его башнях черно-красные флаги. Этим вечером мы с женой пошли в последний раз повидаться с Коппом. Мы не могли ничего для него сделать, равным счетом ничего — только попрощаться и оставить испанским друзьям деньги, чтобы они могли приносить ему еду и сигареты. Впрочем, вскоре после нашего отъезда из Барселоны, его изолировали, так что ему нельзя было передавать даже еду. Этой ночью, бродя по Рамблас, мы прошли мимо кафе «Мокка», которое все еще держал в своих руках большой отряд гражданских гвардейцев. Внезапно я решил, вошел внутрь и обратился к двум гвардейцам, стоявшим облокотившись на стойку, с винтовками за плечами. Я спросил, не знают ли они, кто из их товарищей дежурил здесь во время майских боев. Они не знали. С обычной испанской неопределенностью гвардейцы ответили, что не знают даже, у кого можно бы навести справку. Я сказал, что мой друг Хорге Копп сидит в тюрьме и возможно, что его будут судить за

какие-то дела, связанные с майскими боями. Гвардейцы, дежурившие здесь в мае, знают, что он предотвратил бой и спас несколько жизней. Им следовало бы заявить об этом. Один из гвардейцев, с которыми я разговаривал, был туповатым, неповоротливым парнем, он все время вытягивал шею, стараясь расслышать мой голос в шуме уличного движения. Но его товарищ был совсем другим. Он сказал, что слышал о поступке Коппа от своих товарищей. Копп — *buen chico* — хороший парень. Но уже в то время я сознавал, что все мои попытки напрасны. Если Коппа будут судить, то, как и во всех подобных процессах, используют сфабрикованные свидетельства. И если его расстреляют, (боюсь, что это вполне возможно), то слова — *buen chico* — будут эпитафией Коппа. Слова, произнесенные незадачливым гвардейцем, который был частью гнусной системы, но сохранил в себе достаточно человечности, чтобы оценить благородный поступок.

Мы вели невероятную, сумасшедшую жизнь. Ночью мы были преступниками, а днем — преуспевающими английскими туристами (во всяком случае, такими мы хотели казаться). Даже после ночи под открытым небом, побрившись, выкупавшись, почистив ботинки, мы преображались до неузнаваемости. Наступило время, когда самым безопасным стало придать себе обличье буржуа.

Мы гуляли по наиболее фешенебельным улицам города, где нас не знали в лицо, ели в дорогих ресторанах, вели себя с официантами как типичные английские туристы. Впервые в моей жизни я принялся писать на стенах. «*Visca P.O.U.M.!*» — выцарапывал я самыми большими буквами, какими только мог, на стенах коридоров в роскошных ресторанах. Несмотря на то, что я практически ушел в подполье, я не чувствовал себя в опасности. Все это казалось мне слишком абсурдным. Во мне жила неистребимая английская уверенность в том, что «они» не могут вас арестовать, если вы не нарушили закона. Нет ничего опаснее такой убежденности в период политического погрома. Имелся ордер на арест Макнэра и можно было полагать, что и мы все числимся в том же списке. Аресты, облавы, обыски продолжались без перерыва. К этому времени почти все наши знакомые, не считая тех, кто еще находился на фронте, оказались в тюрьме. Полиция даже задерживала и обыскивала французские суда, периодически вывозившие беженцев, арестовывая подозреваемых в «троцкизме».

Благодаря любезности британского консула, немало потрудившегося за эту неделю, нам удалось привести наши паспорта в порядок. Мы знали, что чем быстрее мы уберемся отсюда, тем лучше. Поезд в Порт Боу, по расписанию, уходил вечером в половине восьмого, то есть можно было надеяться, что в полдевятого он действительно уедет. Мы решили, что моя жена закажет заранее такси, упакует вещи, заплатит за номер и уйдет из гостиницы в самый последний момент. Если служащие гостиницы заблаговременно узнают об ее отъезде, они неминуемо известят полицию. Я пришел на вокзал около семи и обнаружил, что поезд уже ушел — без десяти семь. Машинист, как это часто случалось в Испании, решил по-своему. К счастью нам удалось во-время предупредить мою жену. Следующий поезд уходил рано утром. Макнэр, Коттман и я пообедали в маленьком ресторанчике возле вокзала. Из осторожного разговора с хозяином мы выяснили, что он член С.Н.Т. и дружески расположен к нам. Он дал нам комнату с тремя постелями и «забыл» известить полицию о своих постояльцах. Впервые за пять ночей я спал раздевшись.

На следующее утро моя жена удачно выскользнула из гостиницы. Поезд отошел почти с часовым опозданием. Я воспользовался случаем и написал длинное письмо в военное министерство, в котором изложил историю Коппа, подчеркнув, что его арестовали безусловно по ошибке, что он совершенно необходим на фронте, что множество людей готово подтвердить его полную невиновность и т. д. и т. п. Сомневаюсь, чтобы кто-либо прочитал это письмо, написанное на листках, вырванных из блокнота, корявыми буквами (мои пальцы все еще были частично парализованы), на еще более корявом испанском языке. Во всяком случае, ни письмо, ни другие старания результата не возымели. Я пишу это спустя шесть месяцев после событий. Копп — если его еще не расстреляли — по-прежнему сидит в тюрьме, без суда, без обвинения. Сначала мы получили от него два или три письма, тайком вынесенных освободившимися заключенными и отправленных из Франции. В них рассказывалась все та же история — грязные, темные камеры, скверная пища в недостаточном количестве, тяжелая болезнь в результате условий заключения, отказ тюремных властей оказать медицинскую помощь. Все это получило подтверждение из нескольких других источников — английских и французских. Недавно Копп исчез в одной из «секретных» тюрем, откуда никакие известия не доходят. Его судьба это судьба десятков и сотен иностранцев и никто не знает, скольких тысяч испанцев.

В конце концов мы благополучно пересекли границу. К поезду был прицеплен вагон первого класса и вагон-ресторан, первый, увиденный мной в Испании. До недавнего времени в Каталонии ходили только поезда второго класса. Два сыщика обходили купе, записывая имена иностранцев, но увидя нас в вагоне-ресторане, решили, что мы люди респектабельные и оставили нас в покое. Странно, как все изменилось. Всего шесть месяцев назад, когда власть все еще была в руках анархистов, доверие вызывал лишь тот, кто выглядел как пролетарий. Когда я ехал в Испанию, направляясь из Перпиньяна в Церберес, французский коммерсант, оказавшийся в моем купе, мрачно посоветовал: «Вы не можете явиться в Испанию в таком виде. Снимите воротничок и галстук. Все равно в Барселоне с вас их сорвут». Он преувеличивал, но именно такой представлялась Каталония ушедших дней. На границе анархистский патруль не впустил в Испанию элегантно одетого француза и его жену, кажется, только потому, что они слишком смахивали на буржуа. Теперь все было наоборот. Походя на буржуа, вы были вне опасности. При проверке паспортов на границе полицейские заглянули в список подозрительных лиц, но благодаря скверной работе аппарата, наших имен там не оказалось. В списках не значилось даже имя Макнэра. Нас обыскали с головы до ног, но не нашли ничего подозрительного, кроме моего свидетельства о демобилизации по состоянию здоровья, а карабинеры не знали, что 29 дивизия была поумовской частью. Итак, мы проехали шлагбаум, и после шестимесячного отсутствия я снова оказался на французской земле. Два сувенира вывез я из Испании — флягу из козьей кожи и маленькую железную лампу, в которой арагонские крестьяне жгут оливковое масло. Эта лампа по форме точно напоминала терракотовые светильники, которыми пользовались римляне две тысячи лет назад. Я подобрал ее однажды в разрушенной хижине и каким-то образом лампа оказалась в моем чемодане.

Сразу же выяснилось, что мы выехали в самый последний момент. В первой же газете мы прочитали об аресте Макнэра за шпионаж. Испанские власти несколько

поспешили с этим сообщением. К счастью, «троцкизм» не принадлежит к числу преступлений, охваченных соглашением о выдаче преступников.

Я не знаю точно, что следует делать в первую очередь, покинув страну, охваченную войной и вернувшись на мирную землю. Я во всяком случае прежде всего кинулся к табачному киоску и накупил столько сигар и сигарет, сколько мне удалось распихать в мои карманы. Затем мы отправились в буфет и выпили чаю. Впервые за долгие месяцы мы пили чай со свежим молоком. Прошло несколько дней, прежде чем я привык к мысли, что сигареты можно покупать каждый раз, когда появится в них нужда. Мне все время казалось, что на двери табачной лавки вдруг появится надпись: *No hay tabaco*<sup>3</sup>. Макнэр и Коттман отправились в Париж. Мы с женой сошли с поезда на первой же станции, в Банюльсе, решив немного отдохнуть. Когда в Банюльсе узнали, что мы приехали из Барселоны, прием оказался не очень дружественным. Много раз мне приходилось вести тот же самый разговор: «Вы приехали из Испании? На чьей стороне вы дрались? На стороне республиканцев? О!» — и сразу заметное охлаждение. Маленький городок был целиком на стороне Франко, что, несомненно, объясняется присутствием многочисленных испанских фашистов, бежавших сюда после начала мятежа. Официант в кафе — испанец-профранкист, подавая мне аперитиф, враждебно мерил меня глазами. Совсем по-иному встретили нас в Перпиньяне, где все были сторонниками республики, а многочисленные республиканские фракции грызлись между собой не хуже, чем в Барселоне. Было здесь кафе где слово P.O.U.M. сразу же обеспечивало вам французских друзей и улыбку официанта.

В Банюльсе мы оставались, сколько мне помнится, три дня. Это были странные беспокойные дни. Нам, казалось, следовало бы чувствовать глубокое облегчение и благодарность — мы оказались в тихом рыбацьем городке, вдалеке от бомб, пулеметов, очередей за продуктами, пропаганды и интриг. Но чувство облегчения не приходило. Мы покинули Испанию, но испанские события не покидали нас. Наоборот, все казалось теперь еще более живым и близким, чем раньше. Мы, не переставая, думали, говорили, мечтали об Испании. Месяцы напролет мы говорили себе, что «когда выберемся наконец из Испании», то поселимся где-нибудь на средиземноморском побережье, насладимся тишиной, будем, быть может, ловить рыбу. И вот теперь, когда мы оказались здесь, на берегу моря, нас ждали скука и разочарование. Было холодно, с моря дул пронизывающий ветер, гнавший мелкие, мутные волны, прибывая к набережной грязную пену, пробки и рыбы потроха. Это может показаться сумасшествием, но мы с женой больше всего хотели вернуться в Испанию. И хотя это не принесло бы никакой пользы, даже наоборот, — причинило бы серьезный вред, мы жалели, что не остались в Барселоне, чтобы пойти в тюрьму вместе со всеми. Боюсь, что мне удалось передать лишь очень немного из того, что значили для меня месяцы, проведенные в Испании. Я дал внешнюю канву ряда событий, но навряд ли сумел передать те чувства, которые они вызвали во мне. Мои воспоминания безнадежно смешались с пейзажами, запахами и звуками, которых не передать на бумаге: запах окопов, рассвет в горах, уходящий в бесконечную даль, леденящее потрескивание пуль, грохот и вспышки бомб; ясный холодный свет барселонского утра, стук башмаков в казарменном дворе в те далекие декабрьские дни, когда люди

---

<sup>3</sup> Табака нет. (прим. пер.)

еще верили в революцию. Очереди за продуктами, красные и черные флаги, и лица испанских ополченцев; да, да — прежде всего лица испанских ополченцев, — людей, которых я знал на фронте и нынче разбросанных Бог знает где: одни убиты в бою, другие искалечены, третьи в тюрьме, но большинство, я надеюсь, живы и здоровы. Желая им всем счастья. Я надеюсь, что они выиграют свою войну и выгонят из Испании всех иностранцев — немцев, русских и итальянцев. Эта война, в которой я сыграл такую мизерную роль, оставила у меня скверные воспоминания, но я рад, что принял участие в войне. Окидывая взором испанскую катастрофу, — каков бы ни был исход войны, она останется катастрофой, не говоря уже о побоищах и страданиях людей, — я вовсе не чувствую разочарования и желания впасть в цинизм. Странно, но все пережитое еще более убедило меня в порядочности людей. Надеюсь, что мой рассказ не слишком искажает действительность, я все же убежден, что, описывая такие события, никто не может оставаться совершенно объективным. Трудно быть убежденным до конца в чем-либо, кроме как в событиях, которые видишь собственными глазами. Сознательно или бессознательно каждый пишет пристрастно. Если я не предупредил моих читателей раньше, то делаю это теперь: учитывайте мою односторонность, мои фактические ошибки, неизбежные искажения, результат того, что я видел лишь часть событий. И учитывайте все это, читая любую другую книгу об этом периоде испанской войны.

Чувство, что нужно что-то делать, хотя ничего, собственно, сделать мы не могли, выгнало нас из Банюльса раньше, чем мы предполагали. С каждой милей к северу, Франция становилась все зеленее и мягче. Мы покидали горы и вино, мчась навстречу лугам и вязам. Когда я проезжал Париж на пути в Испанию, город показался мне разлагавшимся и мрачным, совсем не похожим на тот Париж, который я знал восемь лет назад, когда жизнь была дешевой, а Гитлера не было еще и в помине. Половина кафе, в которых я сживал в свое время, были закрыты из-за отсутствия посетителей, и все были одержимы мыслями о дороговизне и страхом войны. Теперь, после нищей Испании, даже Париж показался веселым и процветающим. Всемирная выставка была в полном разгаре, но нам удалось избежать посещения.

И потом Англия — южная Англия, пожалуй, наиболее прилизанный уголок мира. Проезжая здесь, в особенности, если вы спокойно приходите в себя после морской болезни, развалившись на мягких плюшевых диванах, трудно представить себе, что где-то действительно что-то происходит. Землетрясения в Японии, голод в Китае, революция в Мексике? Но вам-то беспокоиться нечего — завтра утром вы найдете на своем пороге молоко, а в пятницу, как обычно, выйдет свежий номер «Нью-стейтсмена». Промышленные города были далеко, выпуклость земного шара заслоняла грязные пятна дыма и нищеты. За окном вагона мелькала Англия, которую я знал с детства: заросшие дикими цветами откосы железнодорожного полотна, заливные луга, на которых задумчиво пощипывают траву большие холеные лошади, неторопливые ручьи, окаймленные ивняком, зеленые груди вязов, кусты живокости в палисадниках коттеджей; а потом густые мирные джунгли лондонских окраин, баржи на грязной реке, плакаты, извещающие о крикетных матчах и королевской свадьбе, люди в котелках, голуби на Трафальгарской площади, красные автобусы, голубые полицейские. Англия спит глубоким, безмятежным сном. Иногда на меня находит страх — я боюсь, что пробуждение наступит внезапно, от взрыва бомб.

Библиотека Анархизма  
Антикопирайт



Джордж Оруэлл  
Памяти Каталонии  
1938

Скопировано 2018-09-02 с  
[http://www.orwell.ru/library/novels/Homage\\_to\\_Catalonia/russian/r\\_htc](http://www.orwell.ru/library/novels/Homage_to_Catalonia/russian/r_htc)

**[ru.theanarchistlibrary.org](http://ru.theanarchistlibrary.org)**